

АЛЕКСАНДР КЛЕЙН

КЛЕЙМЁНЫЕ ИЛИ ОДИН СРЕДИ ОДИНОКИХ записки каторжанина



*Обложка книги
"Клейменные или один среди
одиноких" Сыктывкар, 1995 г.
Художник Наталья Князева.*

*Издание осуществлено на средства
мецената
- депутата Республики Коми Михаила
Борисовича Глузмана.*

Читайте также первую книгу
воспоминаний А. Клейна
ДИТЯ СМЕРТИ *невыводимый
роман*



СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая. ПУТЬ К ЦЕНТРАЛУ

- 1. КОГДА КОНЕЦ ЯВЛЯЕТСЯ НАЧАЛОМ
- 2. СТАСИК ГАЙДОВ.
- 3. ОСОЗНАНИЕ
- 4. В ЦАРСТВЕ КЛОПОВ (КОТЛАС)
- 5. ПРОШТРАФИЛСЯ
- 6. КИРОВСКИЕ ПОДВАЛЫ. БРУНО
- 7. ОН УЖЕ ЕСТЬ НЕ БУДЕТ
- 8. СНОВА ЭТАПЫ. ПОЛЬСКИЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ
- 9. «ЛИРИЧЕСКИЕ ОТСТУПЛЕНИЯ»
- 10. СЕМЕЙНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ (КИЕВ. ДОМ
ВРАЧА)
- 11. ВРЕМЕННО В ИРКУТСКЕ
- 12. МИШЕЛЬ

Часть вторая АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ЦЕНТРАЛ

- 13. ИСТОРИЧЕСКАЯ ТЮРЬМА
- 14. КУРБАН
- 15. ТИХАЯ ПОДЫХАЛОВКА
- 16. ОДИННАДЦАТАЯ ЗАПОВЕДЬ
- 17. ЗИНАИДА БОРИСОВНА
- 18. НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ

- 22. ХВОРИ
- 23. ПОБЕДА УПРЯМСТВА
- 24. ДУМЫ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ВЫСОКОЕ
НАЧАЛЬСТВО
- 25. ПОЭЗИЯ ФЕДИ. КОРПУСНЫЕ
- 26. БОЛЬШОЙ ДЕНЬ
- 27. ПОБЕДА
- 28. ЗА ЧТО ГИБНУТ ЛЮДИ
- 29. ЧТО-ТО ПРОИСХОДИТ
- 30. РАЗЛУКА
- 31. АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
- 32. «КТО ТУТ НА «ЭС»?
- 33. ПОЧТИ СВИДАНИЕ
- 34. ПРОЩАНИЕ С ЦЕНТРАЛОМ. ЗЛАТОУСТ
- 35. ФЕЯ РОСАВА. СРАВНЕНИЕ ТЮРЕМ
- 36. ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
- 37. НОВЫЕ ЗНАКОМЫЕ
- 38. ЛЮБОВЬ ИЛИ ЛИХОСТЬ
- 39. ХУДОЖНИКИ И ПОРТНЫЕ
- 40. САМОУТВЕРЖДЕНИЕ
- 41. Я... ПОРТНОЙ
- 42. НА ПОСТРОЙКЕ ПЛОТИНЫ
- 43. ПОРНОГРАФИЯ И «КАБЛУК»
- 44. ЛАГЕРНАЯ СВОБОДА
- 45. АЛЬФРЕДОВА
- 46. МАТЧ... ЧЕРЕЗ ПРОВОЛОКУ
- 47. В НОВОМ ЛАГЕРЕ
- 48. КУДА?
- 49. ВОРКУТА
- 50. СМЕРТЬ... ОТ ЗДОРОВЬЯ. АРТУР
- 51. «НЕ К ТЕЩЕ В ГОСТИ...». НОВОЕ КЛЕЙМО
«АРТИСТ...»
- МАЛЕНЬКОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ

Часть первая. ПУТЬ К ЦЕНТРАЛУ

**"Жестокость характерна для законов,
продиктованных трусостью,
ибо трусость может быть энергична,
только будучи жестокой".**

К.Маркс

**В благополучном и слепом
нашем существовании
смертники рисуются нам роковыми
и немногочисленными одиночками".**

А. Солженицын.

1. КОГДА КОНЕЦ ЯВЛЯЕТСЯ НАЧАЛОМ

Пробыть почти два с половиной года в плену неузнанным, убежать неузнанным, обдурить всех «знатоков» расовой теории; не сменить своей формы, не уронить чести солдата, принести столько вреда врагу и пользы своим, никого не предать, не продать, не одного и не одну спасти — и за все это получить «Высшую меру ...награды» — расстрел и клеймо «врага народа»?! Такое в мозгу не укладывалось.

Чтобы понять начинаемое повествование необходимо об этом знать и помнить.

Козьма Прутков недаром вопрошал: где начало того конца, которым оканчивается начало. А потому начнем «с того конца»...

«ЗА—МЕ—НИТЬ...»

... Все камеры всего этажа были смертными. Это мы знали по перестукиванию с соседями.

Тянулись дни (про себя их считал каждый). Дверь не отворялась. Только открывали «кормушку», когда давали утреннюю пайку хлеба, единственный вид реальной пищи: (баланда, в которой редко плавало несколько крупинок, не в счет).

Развлекая других, я отвлекал от грустных мыслей себя, рассказывал приключенческие романы, читал стихи и поэмы.

— В лагере будешь в театре, — пророчил Гурьянов.

Иногда мы слышали лязганье замков: открывали ночью или днем какую-нибудь камеру, и мы гадали, пока перестукивание не приносило точные известия: оттуда-то одного взяли или в такую-то камеру одного привели. Даже утреннюю проверку, как и вечернюю, производили через «глазок» в двери. «Козырек» заслонял все окошко под потолком камеры и днем в ней царил такой же полумрак, как от слабой лампочки ночью.

Лежали мы на досках, прикрываясь собственным тряпьем и обрывками одеял, давно списанных даже с тюремного оснащения.

Лязг замка, особенно ночью, настораживал любого: не за ним ли? Неделями двери камер не открывались.

Дни считал каждый...

На двадцать четвертые сутки моего пребывания в смертной ночью противно залязгал замок. Дверь отворилась. За нею мы все, сразу приподнявшие головы: за кем?— увидели трех надзирателей.

— Кто тут на «К»?

— Клыков!

— Нет. А еще?

— Клейн,— сказал я.

— Имя, отчество?

— Выходи. Быстро!

Сердце бешено заколотилось.

— С вещами? (Это был рюкзак. Но в каждой детали «с» или «без» ожидалась подсказка — на расстрел или нет.).

— Бери.

Я попрощался с дедушкой Титом и товарищами.

— Ложку брать?

— Оставь. (Новая загадка).

В коридоре, представлявшем собой огороженные металлической сеткой мостки, трое дежурных, один впереди, двое сзади, повели меня.

Завернули за один угол, за второй. Прошли еще дальше и за одним из углов втокнули в малюсенькую комнатенку дежурного по этажу или корпусу. Там за столиком сидел старшина или старший сержант, уже не помню, а рядом с ним — стояли еще два надзирателя. Провожатые стали в дверях.

На этот раз я стоял действительно в трепетном ожидании: решалось все.

— Фамилия? Имя? Отчество?

Я назвал.

— Помилование писали?

— Писал. Сразу после суда дали бумагу: пиши.

Старшина почесал под носом и пристально посмотрел на меня.

— Так вот, на ваше помилование пришел ответ.— Сказал старший. В руках он держал какую-то бумажку. А я стоял в ожидании.

Старший, покуривая толстую самокрутку, глянул на товарищей. Все затихли и он начал медленно читать:

«...Верховного Совета... Союза Советских социалистических республик (полагаю, там просто стояло «СССР», но читающий не мог отказать себе в удовольствии протянуть наслаждение от этой маленькой психологической пытки) ...приговор Клей-ну Рафа-илу Со-ло-мо-но-вичу... расстрел...»

— Дай прикурить.— Обратился читавший к одному из дежурных.— Опять погасла.

Я стоял, не шевелясь, ожидая...

Сосед дал прикурить. Старший что-то промышчал, шаря глазами по листку, и снова начал:

— Та-ак... «Приговор Клейну... Рафаилу Соломоновичу... расстрел (он снова сделал паузу и по слогам продолжал) ...за-ме-нить (снова пауза) ...двадцатью годами каторжных работ». Распишись.

Я еще не мог осознать толком — что такое «каторжных», но понял главное: расстрел заменен.

— Дайте, пожалуйста, докурить, гражданин начальник!

— На! — И он протянул мне недокуренную сигарку. ... Закружилась голова после долгого «поста», под следствием и в смертной. Я невольно прислонился к косяку (двери в этой камере-нише по-моему не было). Перед глазами все поплыло в сером махорочном дыму. Но уже каким-то новым чувством я ощутил нетерпение провожатых, быстро сделал, обжигая губы (окурок был невелик) еще две-три жадных затяжки. Бережно сдавил дымящийся окурок в пальцах, погасил его и ткнул в карман гимнастерки: пригодится.

Старший мотнул головой. Дежурный рядом со мной кивнул и меня повели уже вправо от каморки по тем же бесконечным мосткам, мимо ниш и камер, за один угол, за другой, за третий...

2. СТАСИК ГАЙДОВ

Наконец мостки кончились и мы вступили в мрачный коридор. В нем были двери и глазки. Мне кажется, я узнал тот коридор, в котором, когда меня привезли в Ленинград из армейской контрразведки, меня в одной из таких каморок, где ни встать, ни лечь, держали, сидя, часа два перед водворением в следственную камеру-одиночку.

Затем перешли в более широкий коридор и там, отворив дверь одной из камер, кивнули: заходи.

Это была просторная камера с двумя окошками под потолком. Шесть или восемь железных коек, влитых в бетон пола, стояли здесь. На койках не было ничего. Голые железные полосы. Но и это служило тогда ложем, вполне пригодным для сна и отдыха: здесь избалованных не было.

Постелив на железные полосы койки свою, уже порядком потрепанную «прожарками» дезкамер москвичку, сшитую из шинели, я прилег, скорчившись, на это ложе. В камере было почти совсем светло: наступила пора белых ночей и это раннее утро четырнадцатого мая казалось мне ясным и солнечным, хотя солнце в камеру не заглядывало и заглянуть не могло все из-за тех же проклятых «козырьков» — «намордников» на окошках.

На душе было как-то особенно спокойно и тихо: смерть отошла от моего изголовья. Она стояла передо мной на фронте, качалась за моей спиной почти два с половиной года в плену (о, если б там кто-нибудь знал, что я — еврей?!), преследовала меня во время побега, издевалась надо мной во время жестокого и дурацкого следствия (как только можно нечто подобное называть «следствием»???), дежурила у дверей моей смертной камеры.

Теперь я перестал чувствовать за спиной ее холодное дыхание. Я был жив в моей стране и мне не грозило никакое разоблачение. Я был самим собой, привыкшим к имени «Сашка», но на самом деле Рафой Клейном, уже достигшим двадцати двухлетнего возраста (далеко не всем тогда это удавалось...). Я решил попросить бумагу и написать заявление с просьбой отправить меня на фронт, искупить кровью, как принято говорить, свою вину перед Родиной. Хотя никакой вины я не ощущал, но знал, что так положено писать, а фронт меня не пугал, чем я лучше других, жертвующих своей молодой жизнью? Фронт лета сорок первого года, когда нас, беззащитных, бомбили денно и ночью, не мог повториться. Да и тогда я не числился среди робких, хотя знал, что не неуязвим.

А может быть направят в лагерь? Неужели там не смогу выйти на сцену? Пусть маленькую, но сцену. Неужели заключение будет длиться вечно? Нет! Даже в мыслях я — советский. Воспитан пионерией и комсомолом, а что они не смогли—дополнило знакомство с гитлеровцами... Пойду на фронт!..

Вероятно, такие мысли владели мной в течение минут двадцати, не более, пока лязганье замка не нарушило тишину.

В камеру вошел заключенный с вещмешком, довольно объемистым, в огромной шапке-ушанке. Глянув на меня, он кинул мешок на койку и обратился ко мне:

— Сколько?

— Чего?

— Сроку, не понимаешь, что ли?

— Замена вышки: двадцать лет каторги.

Вошедший свистнул.

Снова лязгнул замок. Втолкнули еще одного. Тот глянул на нас и, молча, стал, едва кивнув в знак приветствия, устраивать свое ложе.

— Вы все тоже из смертной? — Прервал я молчание. Те замотали головами. Первый повернулся ко мне:

— Из смертной? По пятьдесят восьмой?

Я кивнул. Он усмехнулся: «Позднее подохнешь».

— А вам сколько дали?

Он матюгнулся. Посмотрел на товарища.

— Нам — что?! Мы честные советские люди, не враги народа, не фашисты. Хотели припаять политику да не вышло. Понимаешь? (Я ничего не понимал). Потому в этой тюрьме задержали, теперь в другую

переведут. Мы (кивок в сторону товарища) здесь временные. Наша статья (он назвал статью кодекса, как я позже узнал — «за воровство») безопасная.

Оба сокамерника были старше меня, выглядели неистощенными и одеты прилично, в штатское.

Снова лязгнул замок. И, как сейчас вижу, в дверях появился очень худой и стройный высокий молодой человек примерно моего возраста.

Он быстро окинул взглядом присутствующих:

— Вы тоже из смертной?

Пришедшие после меня отрицательно мотнули головами.

— Я — из смертной.

Он подошел ко мне, подал руку: «И я оттуда. На шестьдесят первые сутки заменили двадцатью годами каторги».

— И мне тоже.— Обрадовался я.— Только я был в смертной всего двадцать три дня, на двадцать четвертые заменили.

— Повезло.

Я как-то сразу почувствовал в нем интеллигента и мы разговорились. Один из первых вошедших оставил нам докурить и у нас завязалась беседа.

Вошедшего звали Станиславом, Стасиком, по фамилии Гайдов. Он был года на два-три старше меня; с последнего курса ленинградского медицинского института оказался врачом на фронте. Как и я при выходе из окружения попал в плен. В виду нужды в медиках немцы его освободили и он стал врачом в Гдове. Помогал партизанам медикаментами, был связан с подпольем (там были партизаны!). При подходе Красной Армии убежал в лес. Он, судя по его рассказу, много хорошего сделал населению и партизанам, все время мечтал убежать к нашим и никак не ожидал, что его арестуют и никто не обратит внимания на партизан, которых он не раз выручал. По национальности он — русский (мать — еврейка, но обрезание ему не делали, что его спасло); попал в плен еще в начале осени сорок первого года поблизости от Таллина.

— А ты?— Он посмотрел на меня.

— Я?.. — Вдруг я почувствовал, что меня душат слезы.— Я все время был пленным, скрывал — кто я... Убежал и... сам оклеветал себя на следствии. Мне сделали инсценировку расстрела... Я испугался... стал врать на себя, что они хотели. Наговорил то, чего вообще не было и быть не могло.

3. ОСОЗНАНИЕ

Я откровенно, ничего не тая (а что мне скрывать?) рассказывал о своих злоключениях в плену, о постоянном стремлении убежать к своим, о неудачных попытках, о том, как мне везло, как иной раз вдруг находили «приступы находчивости», как все это вместе в самых невероятных сочетаниях привело к тому, что удался последний побег и я прибежал к своим. Вспоминаю, как, чуть не захлебываясь от радости, рассказывал в СМЕРШ следователю, еще не понимая, что это уже следствие, о том, как неузнанным убежал из плена, каких только дел не наделал там. И все это правда, и не случайно в глубине души полагал, что если не орден Ленина, то даже Героя Советского Союза мне дадут (мне казалось, что я достоин этих отличий: ведь в плену не уронил чести русского солдата, никого не предал, не сменил грязную, латаную и перелатаную, красноармейскую форму на вражескую, даже пятиконечную звездочку и значок с профилями Ленина и Сталина сберег в подкладке фуфайки).

Рассказываю о том, как избегал медосмотров, как был среди жандармов, эсэсовцев в Тосно, как «за враждебную пропаганду» был осужден на расстрел и спасся. Как был в лагерях в Чудово, Любани, Гатчине, а потом в штатсгуде (совхозе) Вохоново, где вокруг были простые честные русские люди, может быть потому такие порядочные, что окружали их деревни с финским, чухонским, эстонским населением (тут я до конца не мог разобраться, потому что всех их русские называли чухонцами, а те были враждебны к русским, которые в Вохоново в моем лице пленного переводчика нашли опору). В общем, все рассказываю и замечаю, что мне нечего стыдиться в моем пребывании в плену.

Стыдиться надо того малодушия, какое я проявил на следствии после первой же «обработки» («метод физических действий» — по теории Станиславского), начав оклеветывать себя, идя на поводу у следователей.

Вот тут-то первые года два пребывания в тюрьме, когда я рассказывал о своем «деле» и следствии, мои нервы не выдерживали и слезы нередко застилали глаза от обиды.

Никогда, никогда не ожидал я такого «приема», не мог подумать, что есть целая каста штатных «служителей Фемиды», чья вся жизнь посвящена сознательному извращению правды «во имя высших государственных интересов»...

Возможно, я впервые по-настоящему осознал всю глупость, несуразицу и, простите, трагичность своего положения: только и жил надеждой на возвращение к своим, почти несбыточной, где-то в душе, сознаюсь, воображал себя чуть ли не героем, а тут... Вырвался. Прибежал к своим, сказал: «Вот я, весь начистоту перед вами, своими... Совесть у меня чиста». А меня заставили оболгать себя, наплести такое, что и вспомнить стыдно (такое могли подсказывать только люди, сами способные на подобные гадости) — «выявлял настроения пленных через подслушивание», «по его доносам оштрафовано двадцать пять жителей деревни Вохоново» (если бы я нечто похожее делал, то пленные сами бы нашли способ со мной расправиться; а в отношении штрафов вообще анекдот: когда я после бессонных ночей (меня лишали сна) по предложению следователя обязанности дежурных унтер-офицеров «взял» на себя (кстати, столько людей вообще не было оштрафовано в совхозе Вохоново) «доносы», то в ответ на следующий вопрос следователя — назовите фамилии — стал подряд, как были рабочие в списке, так и перечислять. После двадцати пяти фамилий, когда следователю надоело писать, он сказал, «пожалуй, хватит». В этот список, правда, я внес множество никогда не оштрафованных, тех, кто ко мне относился получше и кому, как я справедливо считал, было выгоднее числиться в списках преследуемых вермахтом за невыход на работу в немецкий штатсгут (совхоз). Так я вписал туда, помню, и Надю Миронову, и Тоню Дорофееву, и еще кого-то, кого сроду не штрафовали.

Все это я рассказывал Стасику. Он только головой покачивал.

— Меня не били, — заметил он, — но ставили в дурацкие положения дурацкими вопросами и фантастическими домыслами, просто брали измором, бесконечно допрашивая, не записывая правду, а требуя только лжи. По-моему, у него тоже трибунал обошелся без свидетелей.

Так мы проводили остаток ночи без сна и спать нам не хотелось.

К утру в камеру втолкнули еще несколько человек, но не из смертных камер, а просто ожидавших, как и первые двое, вошедшие после меня, отправки в другую тюрьму, «кресты», где, они знали, режим значительно слабее.

После утренней пайки с кипятком дверь отворилась и дежурный предложил: «Кто хочет во двор дрова пилить?»

Мы со Стасиком с радостью согласились. Захотели пойти и другие, кроме первых двух, решивших остаться в камере.

Нас вывели на тюремный двор. Не на прогулочный, а в настоящий. Со всех сторон высились громады тюрьмы с бесконечными рядами «козырьков» перед окнами. Ни одного «незабронированного» окошка.

Мы приспособили козлы поближе к той стене, где по моим расчетам на третьем или втором (уже не помню) этаже располагались окна камер смертников.

Начали пилить и иногда, в паузах, я будто разговаривал с напарником, выкрикивал: «Дедушка Тит!».

Он должен был узнать мой голос и понять, что я жив, что расстрел мне заменили. Очень уж хотелось дать знать чудесному старику, что я его не забыл.

Не знаю услышал ли он меня. Весеннее солнышко пригревало, и после смертной, откуда на прогулку не выводили, этот тюремный двор казался светлым преддверием новой жизни, в которую я вступал.

К обеду, состоявшему, как раньше, из жидкой баланды, мы снова очутились в камере. А после обеда дежурный, отбирая людей для пилки дров, приказал Стасику и мне остаться: мы каторжники, нас не положено

выводить. Так впервые мы почувствовали, что для нас не все может быть так гладко как для других...

Кстати, когда мы вернулись со двора, то не застали не только двух первых постояльцев, но и некоторых вещей, украденных из сумок у других. Когда пострадавшие стали стучать в дверь, дежурный равнодушно ответил: «Самим надо лучше следить. А где те — не знаю. Перевели».

В камере начали завязываться знакомства и «деловые отношения». Так один предлагал отличный немецкий пуловер за две пайки. Я согласился. На следующее утро отдал свою, а через день вторую.

Стасик это увидел и возмутился: «Ты и так истощенный, сдался тебе этот пуловер?! Все равно, его отберут где-нибудь. Пайка—это жизнь. Кроме пайки мы не получаем реально никакой пищи».

Он возмутился и буквально насильно заставил меня взять у него полпайки и съесть при нем же «на завтрак». Если не ошибаюсь, он так сделал дважды, на следующее утро тоже, так как считал меня слишком истощенным для того, чтобы менять пищу на вещи.

Когда в камере людей дня через четыре набилось порядком, нас, вызывая по делам, вывели, затолкали в «воронок», похожий на хлебный фургон, повезли и через несколько минут, после задержки, вероятно, перед воротами, ввезли в какое-то мрачное помещение. Тут нас из воронка выгрузили, опять же вызывая по делам, и развели по камерам.

Мы очутились в «крестах». Опять мостки-переходы. Бесчисленные камеры-одиночки. Стасика вызвали в одну сторону, меня в другую.

Одиночка, в которой я очутился, уже стала обитаемой. В ней находилось трое крепких ребят. Оказалось, они бывшие полицаи из Волосовского района, соседнего с Гатчинским, жили километрах в тридцати пяти от деревни Вохоново, где находился я. Полицаи считали себя несправедливо осужденными: перед уходом немцев они убежали в лес и несколько дней до прихода Красной Армии партизанили, стреляя в спины отходивших немцев, нападая на обозы. А до того они года два служили в полиции. Все они получили по пятнадцать лет каторги. Всем им жены носили передачи и они пока чувствовали себя относительно сносно.

Здесь перестукиваться не удалось. Едва я попробовал, как соседи остановили: нечего, мол, режим нарушать. Как бы из-за тебя нас передач не лишили.

В камере было пару грубо сколоченных деревянных щитов и подобие козел. Щиты на ночь укладывались на козлы и край железной кровати и все ложились рядом.

Через несколько часов после моего прибытия в камеру втолкнули еще одного. Новичок оказался врачом откуда-то из Пскова по фамилии Левин. Ему также дали двадцать лет каторги: из-под самой виселицы произвели замену. Левину было больше пятидесяти лет. Держался он бодро; считал, что осужден неправильно: свидетельские показания подстроены и лживы. Да, он был врачом при оккупантах, лечил и наших жителей и немцев, когда те к нему обращались (врач он хороший). Но он никого не предал, не доносничал, никаких подписок о службе на пользу вермахту не давал, никаким шпионом не был. А на следствии его заставили подписать всю галиматью, какую насочиняли. По происхождению он вроде полуеврей, о чем немцы не знали, конечно, и не догадывались, тем более, что он и раньше жил в тех местах и по паспорту числился русским (обрезания ему не сделали). Левин держал себя с достоинством, уверенный, что и в лагере врача никакая каторга не коснется. Полицаи прислушивались к его рассуждениям и угощали его понемножку из того, что им приносили в передачах. Мне они оставляли докурить, благо о съестном заикаться не стоило: бесполезно.

Как и в смертной, отгоняя скуку, я сам предложил рассказывать запомнившиеся мне с детства детективные произведения, в том числе, новеллы Эдгара По. Не в пример полицаям, Левин слушал внимательно, подчас переосмысливая только что услышанное.

Книг здесь не давали, а на прогулку выводили на 12-15 минут. Из случайных обрывков фраз надзирателей пытались, задавая глупые вопросы, узнать — скоро ли отправят на этап и, хотя заключили, что там, в пути, еще добром вспомнятся «кресты» и спешить некуда, но, все

равно, с нетерпением ждали отправки.

Такое понятно находящимся в надоедающей однообразии, всегда хочется перемены обстановки и при этом не задумываются над тем, что новая может быть еще хуже сегодняшней. Подобное свойственно не только заключенным, но и вообще людям, подчас целым народам (вывод, сделанный значительно позже).

И вот настало утро этапа. Сперва обыскивали тюремные дежурные, затем — принимавшие этап конвоиры. Где-то на вокзальных задворках, по моим предположениям в районе Московского вокзала, конвоиры, еще раз проверив всех по делам, загоняли в вагонзак, напоминавший по внутреннему устройству обыкновенный купейный вагон, только все дверки в купе являлись решетками-сетками, так что дежуривший в коридоре мог всегда увидеть, что делается в купе.

Лично меня поражал вид наших охранников, начиная от дежурных в тюрьмах и, кончая конвоирами. Все они были молодыми рослыми ребятами, кровь с молоком, богатырского телосложения. На фронте таких не хватало...

Перед посадкой в вагон всем выдали сухой паек на три дня — хлеб, соленую рыбу, кусочек сахара. В хлебе во вдавленную лунку каждому капнули чайную ложку подсолнечного масла. Оно показалось таким душистым...

Стояли долго. Наконец тронулись (нас прицепили к какому-то составу после долгих маневров).

Так как сытых среди этапирруемых, включая тех, кто получал передачи, не было, естественно все приналегло на паек. Каюсь, мне его едва хватило на сутки (хоть раз поел хлеба почти вдоволь. «Почти», потому что насытить долгое время недоедавшего человека невозможно. Едва поев, он опять чувствует голод). После соленой рыбы мучительно хотелось пить. Требовалось выйти по нужде. Ни давать пить, ни выпускать «на оправку» конвоиры не думали. В каждом купе помещалось от 24 до 26 человек (по тогдашним понятиям, довольно сносно). Лежали на верхних багажных полках, внизу под сиденьями. Я устроился внизу: просторнее, никто не толкает, не выставяй ни руки, ни ноги и можешь спать. Стасик оказался в другом купе, его тоже отправляли. В тюремном дворе мы только успели переглянуться. Болтали, что везут в какую-то Воркуту. О таком месте я не слышал и решил, что по неграмотности (знающих географию среди наших «политических» не водилось) люди имеют в виду Иркутск, там есть и река Иркут.

Если с жаждой еще можно было кое-как сладить, то с желанием мочиться дело обстояло хуже. Вскоре я почувствовал, что горемосквичка, перешитая в плену из моей порвавшейся шинели, становится влажной...

Текло сверху. Я стал ругаться и, благо сам хотел на оправку, требовать, чтобы вывели в туалет. Из всех купе неслась ругань: все требовали того же. Дежурные, проходя по коридору, сперва отругивались, всячески обзывая нас, потом просто перестали обращать внимание. Тогда во всех купе стали трясти дверные решетки, требуя начальника конвоя.

Он появился, заспанный; слышался запах винного перегара. Начальник попытался объяснить, что выводить положено лишь два раза в сутки и время еще не наступило. До положенного остается еще часа два, при этом он имел неосторожность обозвать нас фашистами. Тут я услышал возмущенный голос Стасика. Очень внятно он прокричал, что так называть нас никто не смеет, что здесь есть люди, прошедшие фронт, есть отцы и деды таких, как конвоиры и что он будет при первой возможности жаловаться на грубость конвоя.

Начальник, сперва попытавшийся отматюгнуться в ответ на разумные слова Гайдова, затем явно струхнул (видимо, на них тоже полагалась какая-то управа и ненароком могли отправить на фронт).

Крикнув, чтоб не шумели, начальник (это был какой-то старший сержант) удалился и мы услышали звяканье ключей. Появились дежурные конвоиры и стали по одному выпускать из купе на оправку. Один конвоир открывал дверь купе. Рядом стоял второй. Третий стоял у туалета с открытой дверью (закрывать не полагалось). Когда один

выходил, дверь закрывали и второй дежурный сопровождал заключенного до туалета. Господи! Вся эта «туалетная процедура» еще раз демонстрировала «неукоснительную бдительность» советской охраны.

Возможно, не только мне вспомнились поневоле немцы: за все время плена ни разу меня не подвергали обыску, хоть частично напомиравшему то «священнодействие», какое делали из этого на советской стороне. Никогда там так тщательно не охраняли, так зорко не конвоировали. Даже русские полицаи, прислужники оккупантов, не обыскивали с таким садистским наслаждением, пытаюсь во что бы то ни стало найти что-либо запретное, от огрызка карандаша или клочка бумажки до иголки, стеклышка или, не дай Бог, лезвия безопасной бритвы.

По-моему, на третьи сутки пути или на исходе третьих нас привезли в Вологду. Погнали по городу к каким-то старинным зданиям, напомиравшим монастырские или церковные строения. В них помещалась пересылка. Повели в баню. Съев еще в первые сутки весь дорожный рацион, я был голоден, как волк. В бане эк прожарщик-дезинфектор обратил внимание на мой немецкий пуловер и тихонько спросил, сколько я за него возьму. Я запросил четыре пайки (спекулянт!). Он куда-то ушел и вскоре вернулся с тремя горбушками. «Повар берет». —Пояснил он.

Я не мог дожидаться встречи со Стасиком, он мылся в следующей партии, и, когда вышел, у меня добрая половина уже была съедена. Несмотря на голод, он упорно отказывался и с трудом удалось убедить его взять хотя бы одну горбушку.

Часа через два после бани нас опять повели к вагонам.

4. В ЦАРСТВЕ КЛОПОВ (КОТЛАС)

Не стану описывать дальнейший путь к Котласу. Только напомню, что это была центральная северная пересылка. Нас выгрузили где-то за городом. Возле путей стояли вышки по всем углам огромного, огороженного колючей проволокой пространства. Тщательно обыскав, нас завели в него, но не разместили в многочисленных бараках, а повели в самый дальний угол. Там была, огороженная одним рядом колючей проволоки, небольшая зона с единственным, очень неприглядным баракком. Одна его половина предназначалась для нас, другая — для особо злостных нарушителей того, что в этом дичайшем бардаке могло называться «режимом». Там содержали «особо отличившихся» воров, испортивших как-то отношения с теми блатными, которые распоряжались в этом лагере.

Отгороженная от них тонкой дощатой перегородкой половина барака предназначалась для нас.

Еще по пути в это временное местопребывание я увидел безобразную сцену: несколько уголовников избивали одного. Но как??!!

Сбив с ног они били лежащего ногами в подбитыми гвоздями сапогах; топтали его, уже почти безжизненное тело.

Сопровождавшие нас лагерные дежурные — заключенные, равнодушно глянули в сторону убийства и перекинулись несколькими словами, из которых я мог разобрать только «сука»: вероятно, били вора, нарушившего их блатные законы.

Сперва нас остановили и повернули к одному из центральных бараков, где ожидала медицинская комиссия.

Не берусь о ней судить. Заглядывали, в основном, в сторону задниц. Если там серебрилась кожа, махали рукой. Махали рукой и тогда, когда налицо была явная инвалидность — отсутствие руки, ноги, а также при виде отеков.

У меня на ногах появились отеки и меня отмахнули в сторону. Стасик оказался в другой группе. Он не боялся никаких этапов, уверенный, что врач в любом лагере будет работать по специальности.

Под предлогом, что нам нужно передать что-то друг другу, мы смогли на прощанье обняться.

Не прошедших медицинскую комиссию отвели в барак, о котором я уже

упоминал. Годных к отправке, как говорили в Воркуту, вывели из зоны и повели к стоявшим неподалеку вагонам.

Если не ошибаюсь, это было самое начало июня. Над лагерем царила белая ночь и вся грязь под ногами, на только-только освободившейся от снега почве, по-болотистому вязкой, выступала наружу.

В отведенном нам отсеке барака царила грязь. За стенкой раздавались громкие голоса; отчетливее всего выступали бесконечные матюги. Чувствовалось, что сидевшие там, не могли обходиться без таких «довесков» к русской речи.

Измученный, я, как и другие, прилег на нары, не обращая внимания на ругань, доносившуюся из-за перегородки.

Боже мой! Не успело чутье потемнеть, как началось нашествие клопов. И до того и после мне не раз на протяжении тюремной и лагерной жизни приходилось встречаться с этими тварями. Без них тогда не обходилось ни одно здание, ни одно жилище.

Некоторые из каторжных мужичков, имевшие с собой большие мешки, стали друг друга завязывать в них, ложась на нары. Но проклятые клопы дождем барабанили по мешкам и, конечно, многие проникали внутрь. У меня мешка не было и я оказался беззащитным от нашествия тварей. Сколько их не убивай, все равно, не в одном, так в другом месте кусают. Описать это невозможно. Я вскочил с нар и, отряхиваясь, стал ходить по бараку взад и вперед. Не у всех оказались мешки. Остервенело глуша клопов и, расчесываясь, на нарах сидели еще несколько доведенных до отчаяния мучеников.

— Что делать? Что делать? — Стонал один старик.

— Давайте я вам буду рассказывать, авось звук голоса чуть уймет тварей, — предложил я. Люди согласно закивали головами.

— «Братья-разбойники». — Возгласил я одну из своих коронных вещей. Слушали внимательно. Охали. Особенно при описании тюремных эпизодов. Едва я закончил, из-за перегородки, за которой после начала чтения по-моему шум затих, раздались требовательные голоса: «Артиста сюда!»

Я посоветовал еще немного послушать, так как опасался слишком близкого общения с незнакомцами. Прочитал еще два-три стихотворения, среди них лермонтовского и пушкинского «Узников». Из-за перегородки требование «артиста — к нам» — стало настойчивым. Когда к этому приложилось обещание, что «не тронем», я решил зайти в другой отсек, тем более, что здесь мои слушатели пытались опять устроиться на ночлег.

Вход оказался с другой стороны барака. В той половине было просторнее. На нарах сидели в различных позах всего человек двенадцать, не больше. Посередине, между нарами, стоял стол, на нем свеча, слабо озарявшая помещение.

Когда я вошел, задали три-четыре вопроса. Узнав, что я каторжник, только присвистнули. Один попытался выразить недовольство: мол, пятьдесят восьмая пожаловала. Но на него кто-то авторитетно цыкнул.

— Читаешь ты фартово. — Заявил, как мне показалось, наиболее солидный и благожелательный. — Только не знаешь ли ты еще чего посolidнее, вроде «Луки Мудищева»?

К всеобщему изумлению и удовольствию, подобные произведения также оказались у меня в репертуаре — и «Петергофский госпиталь» Лермонтова, и «Царь Никита» Пушкина, и еще немало других, ставших отечественной порнографической классикой, и читал я все это, знаю, здорово, включая неприличнейшую «Анюту», которую вообще пел, сам сочинив к ней легкий опереточный мотив. Пусть простят меня читатели. Я никогда специально не заучивал этих произведений, но феноменальная память, присущая мне с детства, жадно вбирала в себя все дозволенное и, конечно, особенно все недозволенное. Пусть читатели вспомнят свои студенческие годы, вечера в общежитиях, своеобразные «мальчишники», где люди, сплошь и рядом еще не знавшие женской ласки, не имевшие дела с женщинами, мало того, что жадно впитывали все о сексе, но и стремились доказать свою взрослость знанием всякого порнографического материала.

Выступление имело бурный успех, мне дали передохнуть и в ответ на просьбу дать покурить, даже, ссыпав из нескольких тощих кисетов что-то

вроде махорки, дали кусок дефицитной газетной бумаги: сворачивай и кури.

Голова пошла кругом, я опустился на скамью у стола. Вспомнилась строка из «Скупого рыцаря» Пушкина — «Приятно и страшно вместе».

Теперь уже интересовались живее, кто я такой. Их не задело, что я еврей, для них это роли не играло, а уже в этапных вагонах я успел убедиться, что не для всех моих товарищей по несчастью это безразлично и, будь на то возможность, они бы великолепно с удовольствием выполнили ту миссию, какую в отношении меня не удалось выполнить гитлеровцам.

Ночь прошла без сна. Утром я вернулся в свою половину. Прилег на нары и, благо при свете клопы не так свирепствовали, моментально уснул.

Вскоре однако разбудили на проверку, потом повели на завтрак, не уступавший тюремному по своей «сытности»...

К сожалению, получая крохотную пайку, я зазевался: кто-то меня отвлек, возможно, с умыслом, и на мгновение отвернувшись, я уже не увидел своей пайки.

Жаловаться было некому и бесполезно. Унылый, я побрел к нашему барaku.

— Артист! — Вдруг окликнули меня. Я обернулся: в лагерном понимании довольно прилично одетый, передо мной стоял один из любителей «художественного слова» из второй половины барака. — Чего приуныл?

Я рассказал ему о пропаже. Он рассмеялся: «Жить не умеешь. Тут тебе никто не поможет. Сам должен мозгами шевелить. Но... пиши заявление в китайскую прачечную».

— Куда?

— Куда я сказал. — Он подал мне клочок бумажки и огрызок карандаша, вещей дефицитных в тех условиях, и начал: «Я — артист такой-то... Пиши, пиши... сегодня пострадал: у меня спи... (последовало жутко неприличное слово, но диктующий уверил, что без него «заявление» не пройдет), итак, сперли пайку. Помогите. Подпиши».

Я подписал и он повел меня по лагерной зоне. Подошел к окошку столовой, там пошептал что-то, отошел, повел к другому окошку. Но, видимо, и там ничего не вышло. Наконец, встретив какого-то знакомого, он переговорил с ним и тот через некоторое время вынес мне кусочек хлеба с полпайки.

— Больше не нашли. — Сокрушенно сморщился мой спутник. — Вечером приходи опять. Может что и сообразим, но не обещаю.

Я от души поблагодарил.

Нет ничего вкуснее хлеба, ничего желаннее, необходимее. Если есть хлеб, значит, нет голода. Другое дело, сколько хлеба требуется истощенному организму. Тогда никто не мог насытиться хлебом, никто из тех, кто оказался за проволокой или в тюрьме.

На пересылке в Котласе нас не гоняли на работу. Но уже со вторых суток перед маленькой зоной, где находился наш барак, постоянно дежурили доверенные зэки, нечто вроде лагерной полиции, не выпускавшие нас, каторжников, никуда, кроме столовой, бани, медосмотров.

Несмотря на это, все время шел бойкий обмен между каторжниками, имевшими еще кое-какое барахлишко с воли, и зэками и дежурными из охраны. Вещи отдавали за баснословно дешевую цену, в основном, за табак, так как те, кто раньше получал передачи, еще не успели хорошенько проголодаться. Уже знали, что есть где-то на крайнем севере Воркута, а в ней угольные шахты; что климат там почище иркутского, что еще по пути туда, если не конвоиры, то урки отберут все мало-мальски сносные носильные вещи, а потому лучше их поскорее сбыть с рук.

После отправки этапа в Воркуту каторжан оставалось сравнительно немного, человек сорок, не прошедших медкомиссию по состоянию здоровья.

Через несколько дней нас вместе с зэками вновь погрузили в вагонзак и повезли в Молотов. Но там почему-то этап не приняли. Нас погнали дальше, в Киров (Вятка). Но в Кирове тоже не приняли и нас отправили

опять в Пермь (Молотов). Так бестолково нас возили несколько раз туда и обратно.

5. ПРОШТРАФИЛСЯ

Описывать условия этапов не стоит: теперь об этом все знают. Только подтверждаю, что обычно нас находилось 32—36 человек в одном купе, а как-то между Пермью и Кировым, благо расстояние не очень велико, часов 12 езды — и все, в купе набили до 42 человек, правда, не взрослых. Отпетые подростки 12—14 лет, в основном воры, были буквально втиснуты в наши купе. Люди оказались набиты, как сельди в бочке. Даже под нижней полкой нас оказалось трое или четверо. Чтобы не задохнуться, я умудрился скрючиться у самой двери: все же через частую сетку-решетку из коридора падало какое-то количество относительно свежего воздуха. Сзади, сбоку, надо мной и буквально на мне — везде сидели люди. Я не успел сообразить, что происходит, как был тщательнейшим образом обыскан, обшарен, причем, нельзя было определить кто тебя обворовывает или обшаривает, такая теснота: ничего не видно и не определишь.

У меня брать было нечего, только порвали подкладку москвички и карманы брюк. Чью-то руку я при этом схватил, но получил ботинком по голове и выпустил. Однако, нашествие малолеток причинило другие неприятности.

В то время как подростки копошились, наводняя собой все купе, вдруг от его задней стенки, против двери, там, где у нормальных вагонов находится окно, раздался крик пожилого каторжника: «Пайку украли!».

Каторжанин этот был со мной в Котласе и оказался дюжим дядькой. Он стал оттеснять от себя наседающих малолеток и громко звать дежурного охранника.

Тот появился и, равнодушно спросил, в чем дело.

Каторжник объяснил, что украли хлеб (преступление страшное).

— Кто?— Спросил дежурный.

Каторжник, конечно, не мог назвать. Тогда дежурный сказал, что он врет, напрасно поднимает шум и он его сейчас засадит в кандей (оказывается в этом вагоне был еще и карцер!). Сперва каторжник пытался по-человечески объяснить, что, видимо, украли малолетки. Но последние подняли такой вой, так стали обзывать пострадавшего, что он замялся.

— Так кто же у тебя украл пайку, мать твою...— Рывкнул дежурный.— Сейчас посажу тебя в кандей, чтобы не нарушал порядок! Не знаешь — кто, так не ори.

И тут произошло неожиданное. Каторжник сказал, что узнал, кто украл пайку. Сидя в самом конце купе, он вдруг рывкнул: «Жид украл!».

Я онемел от такой явной клеветы. Но все же сказал, что никак не мог, так как от пострадавшего до меня при всем желании не протиснуться.

Однако, дежурного это мало интересовало, благо я находился у самой двери. Он быстро отворил ее, выволок меня и потащил по коридору в какое-то пустое купе.

Я объяснял дежурному, что не мог это сделать. Но конвоир только покрикивал: «Молчи! Знаю я таких...» — и отчаянно ругался.

Так он втолкнул меня в пустое купе, где с помощью еще одного быстро подоспевшего конвоира (а может быть, это было еще по пути, уже не помню) на меня стремительно надели наручники.

Руки мне завернули за спину. Втолкнув в купе, конвоиры повалили меня на спину на нижней полке, стали топтаться по мне, садились на меня, приподнимали и бросали, требуя, чтоб я сознался, что украл пайку.

Я отказывался. Они продолжали свое дело. Я упорно молчал. Это еще больше бесило моих мучителей. Железо наручников все глубже врезалось в мои запястья. Вдруг одного из дежурных вызвали.

— Чего не кричишь, ори. —Тихо шепнул мне оставшийся. — Кричи!

— Я же не виноват. — Простонал я. — Не знаю, где его пайка, кто брал ее, честное слово!

— Кричи, а то подумают, что упираешься или не больно.

— Кричи! — Повторил он и в это время вернулся второй конвоир.

И тут своим актерским поставленным голосом я стал орать во всю

глотку, на весь вагон, если не на весь поезд.

— Тише ты!! — Попробовали урезонить меня конвоиры. Но не тут-то было. Я вошел во вкус и кричал непрерывно.

Наконец, конвоир, бывший особенно жестоким, плюнул. — Да замолчи ты!

— Руки, руки отрезали!!!

Орал я, действительно уже не чувствуя своих рук.

Видимо, конвоиры струхнули. Они затолкали меня в туалет; сняли наручники: «Держи под краном!»

Но у меня руки распухли и беспомощно висели двумя отеками подушечками. Тогда один из дежурных стал растирать мне руки под краном. Увы, руки вовсе онемели. Понимая, что за такое самоуправство им может нагореть, конвоиры старательно растирали руки, пока они не начали отходить.

Их злость прошла и, по-моему, они поверили в мою невиновность.

Чтобы я пришел в себя, они позволили мне немного посидеть в коридоре и даже дали докурить.

— За что ты?—Спросил один из них.

— Был в плену. Убежал из плена.

— Врешь. Если кто из плена убежит, того награждают.

— Вот меня и «наградили». Ответил я. — Без свидетелей заставили на себя самого наговорить.

— Ладно. Не ври. — И меня снова втокнули в невозможную тесноту купе.

6. КИРОВСКИЕ ПОДВАЛЫ. БРУНО

Когда нас выгружали в Перми или в Свердловске (нас несколько раз бестолково гоняли туда и обратно, так как мы, инвалиды-каторжники никому не были нужны), то на платформе, если мы оказывались там, окружали плотным конвоем с собаками. Конвоиры отгоняли любопытных. Гнали по городу пешком. Истощенный, на подъеме к тюрьме в Кирове я упал. Конвоир уськнул на меня собаку. Но я лежал неподвижно. Конвоир стал пинать меня сапогом. Но я понимал, что если пошевелюсь, то буду иметь дело с псом, не менее, если не более свирепым, чем конвоир, и продолжал лежать неподвижно.

Стали ругаться и каторжане. Из-за меня, лежавшего, их не вели дальше в «райские кущи» пересылки или тюрьмы (пересылка обычно представляла собой огромный лагерь, как в Котласе, Свердловске или Новосибирске и там режим был слабее, чем в любой тюрьме, хотя бы даже пересыльной, как в Иркутске).

Появился начальник конвоя. Лежа на земле, я одним глазком из-под полуприкрытых век наблюдал всю эту сцену. Начальник почесал за ухом и приказал двум каторжанам поднять меня и стать со мною в строй. Для этого пришлось отогнать пса. Ругаясь, товарищи приподняли меня, я стал в строй и пошел в строю с ними.

У меня сильно отекали ноги и передвигать их было очень трудно. Ни одна обувка не подходила. Свои сапоги еще из плена мне удалось на пересылке до Кирова обменять на «бахилы», «ЧТЗ» (нечто вроде грубейших калош из грубой резины, вроде той, что идет на выделку шин. В эти «бахилы» мои ноги влазили. Но, все равно, когда мне приходилось идти, ноги так стремительно наливались, отекали, что затем огромные бахилы удавалось снять только в лежачем положении, подержав ноги выше головы.

В Кирове нас поместили в подземеелье тюрьмы, вероятно, очень старой. В этих подвалах под низкими сводами нельзя было поставить двухъярусных нар, а рослому человеку ходить по камере можно было только, пригибаясь. С двух сторон были нары. На них и под ними лежали мы. В середине был узкий проход. Возле двери с одной стороны стояла огромная параша, с другой — бачок с кипяченой водой.

Боже мой! Каким вкусным казался тогда горячий кипяток, подаваемый в камеру по утрам и вечерам. Я жадно пил этот невозможно жаркий «напиток», пытаюсь как-то обмануть свой голодный желудок. Пили и другие. Несколько недель летом в нестерпимой духоте тюремных подвалов стоили жизни многим.

В одной камере со мной на нарах поближе к двери, довольно «аристократических», лежал еврей лет тридцати трех-тридцати шести, прилично одетый, и отнюдь не истощенный. Он получал регулярно передачи от своих близких. Возле него постоянно находились двое неевреев, тоже не истощенных.

Как оказалось, это были блатные; каторжники, сидевшие по статье 59—3 (вооруженный грабёж с убийством), а еврей сидел за растрату, но тоже получил около пятнадцати лет каторжных работ.

Блатные ревностно относились к своему подопечному и, охраняя его, не подпускали и других к нему. Для меня было сделано исключение. Мы познакомились. Не помню, увы, как звали еврея. Он показался мне довольно симпатичным, умным, как и большинство евреев с юмором, помогающим переносить самые тяжкие невзгоды. Однако, когда он оставил мне покурить, я заметил, его «покровители» между собой недовольно переглянулись. А затем, когда еврей уснул, один из них подошел ко мне и тихонько посоветовал поменьше вертеться возле их товарища. К сожалению, он не умел по-немецки, а я по-еврейски и потому поговорить с ним в тесноте камеры, где было набито около восьмидесяти человек при площади примерно восемнадцать квадратных метров, было невозможно: всегда кто-то находился рядом.

Маленькое зарешеченное окошко с неизменным козырьком снаружи тускло освещало подвал. Еще темнее здесь было от человеческих испарений, от пара, идущего от кипятка, от махорочного дыма. Уже здесь я увидел как за несколько сигарок люди отдают хлебные пайки. Торговели блатные, кутившие табак еврея. К слову скажу, что они здесь разыгрывали из себя его верных друзей, оберегавших его от «фашистов», то есть, нас, сидевших по 58-й статье. Затем, как мне рассказали уже значительно позже, кажется, в Иркутске, эти «приятели», когда их стали отправлять на этап вместе с евреем, обобрали его до ниточки, забрали не только продукты и курево, но и всю его одежду, которую продали охранникам (он имел хорошее кожаное пальто и другие нормальные носильные вещи «с воли»). Мне кажется, он был неплохим человеком, весьма неглупым, во всяком случае, более умным, чем я. Но отнестись получше ко мне ему мешали не только блатные, но и вся камера, вряд ли настроенная не антисемитски, на чем играли блатные «интернационалисты».

И все же в ней я встретил глубоко порядочного человека.

Это был очень высокий и худой мужчина лет тридцати пяти с интеллигентным лицом. Не помню уже, каким образом нам удалось познакомиться. Впрочем, припоминаю, как это ни стыдно.

Нередко в камере возникали споры и, как всегда при скоплении людей, страдающих помимо всего от безделья, споры и ссоры возникали по самым пустяковым поводам и без них.

Ручаюсь, что с провокационной целью блатные затеяли спор с одним, что он не сможет разом съесть за какой-то мизерный промежуток времени кусок хлеба величиной со спичечный коробок. И выиграли. Оказалось, они все грани коробка «выпрямили» и получился размер чуть ли не больше 450-граммовой пайки — нашего дневного рациона. Проглотить это действительно было невозможно. Споривший проиграл. Другой спор, предложенный этими же типами, заключался в том, что никто не сможет съесть пайку за сто шагов. Тут я не выдержал:

— Я смогу.

В случае проигрыша я платил своей кровной пайкой, в случае выигрыша, я съедал вдобавок к «обкусываемой» и свою.

Вся камера встала по сторонам узкого прохода в две шеренги, а между ними под громкий счет должен был шагать я и есть злополучную пайку.

Несмотря на волчий аппетит и опыт быстрого поедания хлеба, это оказалось не просто.

Представьте себе: с двух сторон хором считают: раз, два, три, четыре..., тебе поневоле хочется кусать, жевать в такт счета; счет по указке блатных идет довольно быстро (не смей шагать медленно). Кроме того, кое-кто из каторжан старался подставить мне ножку. Одним словом, к удивлению многих, я сумел съесть полпайки. Видя, что счет подходит к концу, я попытался побольше запихать на последних «девятиста девять, сто» — в рот. Не тут-то было. У меня вырвали изо рта, пытаюсь даже

вытащить то, что уже было в нем и, продолжая требовать, чтоб я отдал находящееся во рту, сбили с ног и дали несколько раз по ребрам.

Начавшееся избиение прекратил еврей, урезонивший своих «охранников», а те, в свою очередь, приказали остальным каторжникам отстать от меня. Естественно, что мою пайку забрали и, если не ошибаюсь, забрали, согласно уговору (сейчас точно не помню) пайку и на следующий день.

Избитый и истощенный, питаюсь по сути одним кипятком, я валялся возле параши под нарами, изредка поднимаясь, немного размяться, бродя по узкому проходу камеры. И тут как-то рядом со мной очутился высокий незнакомец. Звали его Бруно, а фамилия Месснер. Он оказался настоящим немцем, чему я несказанно обрадовался и мы стали говорить по-немецки. Я вкратце рассказал ему о себе, о плене, о следствии. Он, горько усмехнувшись, сообщил, что «сидит» уже семь лет, с тридцать седьмого года. Он и его отец, тоже репрессированный тогда же, по специальности инженеры, будучи коммунистами, бежали из Германии и поселились в Ленинграде. В тридцать седьмом году, приписав им статью 58-10 (антисоветская пропаганда) или 58-6 (шпионаж), к чему оба ни малейшего отношения не имели, их отправили в лагерь. Отцу присудили десять лет лагерей, Бруно — пять. Однако, полтора года тому назад Бруно вызвали в лагерный спецотдел и предложили расписаться в том, что он уведомлен о том, что срок ему продлен. Теперь у него пятнадцать лет каторги и вот уже второй год его гоняют по этапам.

Бруно объяснил мне глупость моего поведения, рассказал о законах тюремной и лагерной жизни, о том, что с блатными ни в коем случае нельзя спорить «на интерес»: они обязательно обманут и выкрутятся. А вообще лучше держаться от них подальше. Так как он здесь ни с кем, кроме меня, не общался, на него обратили внимание только тогда, когда мы стали прогуливаться по камере вместе. Увы, прогулки длились недолго. Сперва сокамерники-каторжане, а потом блатные стали возмущаться, что мы говорим между собой на «собачьем» языке, очевидно, смеемся над другими и во избежание избиения мы стали разговаривать с Бруно только по-русски и уже не о таких вещах, за которые можно было получить еще раз «пятьдесят восемьдесят» или быть избитым обзленными сокамерниками.

Вообще, уже здесь я вновь почувствовал антисемитизм. Он исходил от моих товарищей по каторге, бывших полицаев и старост. Интересно, что поругивая «жидов», они делали исключение для еврея, имевшего табак и передачи.

А меня в глаза честили «жидом» по самому нелепому поводу, например, проходя мимо, задевали, говоря: «Эй, жид, потеснись маленько» или «Отойди, чего стоишь тут в проходе». Не все были такими, но многие. Бруно иногда удавалось их утихомирить, его уважали, как старика лагерника.

В камере были шахматы. Ни одного соперника у меня не оказалось. С удовольствием проигрывал мне и Бруно: за игрой мы могли нет-нет да перекинуться несколькими фразами по-немецки. Этот язык, стал отдушиной и для него и для меня. Парадокс! Но никогда в плену я не чувствовал себя так униженным, как в тюрьме.

Узнав, что я артист, еврей предложил мне прочитать что-либо и я с удовольствием стал читать. Под предлогом благодарности еврей дал мне сигарку, которую мы братски разделили с Бруно. Но, если еврей слушал внимательно и, чувствовалось, кое-что понимал в искусстве, то за исключением Бруно и еще двух-трех человек, остальные были абсолютно равнодушны. Мое чтение мешало им болтать о сале, каше и прочей еде. Удивительно, что любимым занятием этих «политиков» (пятьдесят восьмая статья — политическая) было глотать слюни, слушая рассказы о приготовлении вкусной жирной пищи. Это я называл онанизмом, слюнопусканием без необходимого повода.

Раза два, когда к параше подбегал кто-либо и «с ходу» испражнялся кровью, вызывали дежурного, тот — врача и беднягу забирали. Голодный понос в сорок четвертом году скосил очень многих.

Бруно на нервной почве как-то странно посапывал будто у него что застревало в ноздре и при этом моргал глазами. (По этой привычке я его

сразу узнал через одиннадцать лет в Воркуте, куда его затем направили в речлаг). Там же я встретил в лагере первой «Капитальной» шахты тогда же и Стасика Гайдова. Оба думали, что я давно умер. Оба ждали освобождения. Но это было... потом... потом...

Может быть, самое страшное и безнадежное в жизни у меня связано с жуткими воспоминаниями о подвалах-камерах тюрьмы в Кирове летом в жару того сорок четвертого года. Может быть... Впрочем, в дальнейшем память о камерах Александровского централа или Иркутской тюрьмы (перед ним) не уступит этим. Люди теряли человеческий облик. Голод, духота, жара, непонимание происходящего, этой непонятной жестокости в условиях, обращении, во взаимоотношениях, где буквально каждое слово, каждый жест могли вызвать чье-то недовольство в виде удара по почкам или в живот,— все это дико и может показаться для тех немногих, кто пережил это, кошмаром. Не случайно, имея в виду кировские подвалы я позднее, только припомнив этот ужас, писал:

Неужто Бог с чертями заодно?
Судьба, за что меня ты покарала?
Решеткой туго стянуто окно
Под низким сводом душного подвала.
Душа моя, не опустишь на дно.
Еще не все ты в жизни испытала,
Тебе не то пройти еще дано,
И этот ад—лишь адово начало.
Решеткой стянуто тюремное окно.

Рассказывая Бруно о своем самонаклепе, я с трудом подавлял слезы. Мне все еще казалось, что виной всему моя трусость на следствии, что боясь продолжения побоев, того произвола, какой мне продемонстрировал, в частности, первый следователь, я шел на поводу и у других, надеясь на какой-то гуманизм свыше, на обещание отправить на фронт, чтобы там «кровью искупить свою вину». Увы, беседуя с Бруно, я убеждался, что не я один вынужден был клеветать на себя. Я понимал, что остался в мире один. Осиротев в детстве, я стал очень привязчив к друзьям. Но здесь их не было. Я мог верить одному Бруно. А он со дня на день ждал отправки в лагерь. Как я понял, он и его отец стали жертвами тридцать седьмого года, эпидемии подозрительности.

Увы, пораскинув памятью, можно с уверенностью сказать, что в истории советского государства почти каждый год был «тридцать седьмым». От 17-го до 1923-го все объяснялось гражданской войной и ее последствиями. Относительно спокойными могли считаться годы 1924-26, когда вожди революции и те, кто в результате ее оказались у кормила власти не могли поделить ее между собой и так увлеклись внутривластной дележкой, что относительно мало могли заниматься репрессиями (относительно!!!). С двадцать седьмого, затем с «шахтинского дела», (1928), пошли сказки о вредителях и под этим предлогом сажали во всю.

С двадцать девятого началась коллективизация и потянулись колонны ни в чем неповинных тружеников-крестьян в ссылки, в тюрьмы, на расстрел. В 30-м новая волна арестов «вредителей», в связи с процессом «Промпартии». С 1931 года началась, так называемая тогда «эпидемия золотухи», когда по распоряжению правительства ГПУ вытягивало у населения все золото, включая обручальные кольца, носить которые считалось буржуазным пережитком.

Но ведь в эти же годы «досаживали» несчастных нэпманов, людей, поверивших новой власти и попытавшихся оживить торговлю, производство (и это им удалось!). Будучи совсем маленьким, я слышал разговоры родителей за столом (они думали, что я ничего не понимаю, а я до сих пор помню очень многое из их разговоров). Отец рассказывал, как был на визите у больного нэпмана. Последнему пришлось все имущество, всю одежду отдать от наседавших сборщиков налогов, он

уже не имел ничего, а от него все требовали и требовали. Он лежал,— с возмущением рассказывал отец,— на голом матрасе, прикрытый какими-то лоскутьями вместо одеяла. На нем была только рубашка. Одежду пришлось отдать за бесценок, чтобы как-то прокормиться. Конечно, отец не взял платы за визит.

Итак, тридцать первый—тридцать второй годы — «золотуха» и продолжение репрессий под девизом коллективизации. Тридцать третий год — то же, плюс репрессии «за голод». Тридцать четвертый — продолжение репрессий за вредительство и начало массовых расстрелов в связи с убийством Кирова. Тридцать пятый — репрессии из-за убийства Кирова и процессы «троцкистов» и прочих. Все это время репрессии за вредительство, шпионаж, саботаж и т. п. С тридцать пятого непрерывные аресты «троцкистов», «уклонистов», «вредителей», «шпионов», «пособников». О тридцать седьмом и тридцать восьмом говорить нечего.

В тридцать девятом финская война, хотя и перед ней сажают тысячами. Сороковой — последствия войны, а сорок первый — новые «предатели» и «изменники»...

Продолжение такое же, забегая вперед, скажу: так до пятьдесят четвертого (в пятьдесят третьем «по инерции» сажали по-прежнему). Сплошной террор. Непрерывное сочинение сказок о всяких несуществующих, фантастических преступлениях. И это не касалось отдельных лиц, а всех без исключения, снизу доверху и сверху донизу (вот тут только сказывалась «демократичность» власти).

Бесчисленное количество здоровых тунеядцев кормились этими сказками, помогая их сочинять, охраняя и уничтожая миллионы безвинных. Предположим даже, что я и мои товарищи по заключению были преступниками. Но неиспользование нас было глупостью. Погнали бы в штрафные батальоны, истребили бы нас гитлеровцы, но хоть какую-то пользу мы бы принесли. А так — гоняют по этапам, тратят деньги на охрану не преступников, а просто задуренных, доведенных до скотского состояния людей, которых, объявив преступниками, сами же испугались и боятся. Сколько средств тратится на содержание, пусть самое голодное, миллионов людей, которых можно использовать разумнее. Сколько конвоиров могли бы стать героями на фронте?! Сколько следователей контрразведок и тыла могли бы содействовать быстрой победе над врагом?!

Так можно дорассуждаться до бесконечности. Когда вспомню бестолковые передвижения огромных составов с заключенными, туда и обратно, когда их нигде не принимали, путали места назначения и т. д., поражаешься человеческой глупости. Она идет рука об руку с подлостью и питает первую. Впрочем, это взаимно.

Люди подышают от голодных поносов, отеков и т. д. Пропадают без вести мужья, отцы семейства, родство с ними считается преступлением. Можно ли тут говорить о какой-то тени справедливости? Бессмысленная жестокость отличала строй, утвердившийся в результате октябрьского переворота. А когда он стал поворачиваться лицом к людям, все его грехи, все грубейшие ошибки, в первую очередь коллективизация и репрессии, не дали великой стране по-настоящему познать себя. Бред о мировом господстве погубил богатейшие природные ресурсы. Кто же настоящие враги народа? Эта полуживая мелочь, гонимая под конвоем, или те, кто довел всю страну до подконвойного состояния, заставив еще и боготворить своих конвоиров?!

7. ОН УЖЕ ЕСТЬ НЕ БУДЕТ

Сам удивляюсь, что не заболел ненавистью к «высоким врагам народа». Возможно, это объясняется безнадежностью или ироничностью, основанных на здравой оценке окружающей глупости. Ведь дурак — это нечто пожизненное. Я тоже не исключение. Мне страстно хотелось верить в гений Сталина, в его ум, милосердие (простите, и в это). Хотелось верить, что в один прекрасный день нас подкормят, рассортируют и отправят, кого на фронт, кого домой к семье. Правда, еврей в камере и Бруно говорили мне, что нам, пятьдесят

восьмой (еврей как-то подчеркнул это, когда «враги народа» стали очень уж дружно говорить о скорой амнистии) ждать нечего, а его и его товарищей» то есть, бандюг, могут простить, но нас, бывших на оккупированной территории, никогда. И все же мне не хотелось этому верить, как и другим обреченным на смерть в заточении.

Когда я начал рассказывать романы, а я все же по просьбе того же еврея, Бруно и еще кого-то рассказывал некоторые исторические романы, полюбившиеся с детства, вроде «Князя Серебряного», «Аскольдовой могилы», «Девяносто третьего года», отношение ко мне несколько смягчилось, хотя блатные по-прежнему бдительно оберегали своего «патрона» от попыток угостить меня кусочком сахара из передачи или папироской. Я тихонько продолжал подышать возле параши на нарах (несколько мест освободилось, так как заболевших поносом с температурой забирали в больницу). Кипяток я продолжал пить с голодной жадностью по несколько мисок (у нас были глиняные миски и деревянные ложки, выдаваемые тюрьмой).

Силы мои таяли. Прогулка казалась нагрузкой. Отекшие ноги не слушались. Как-то вечером я почувствовал себя плохо. По-моему, на прогулке меня продуло. Всю ночь я бредил. Утром проснулся с дикой головной болью. Состояние мое было таково, что еврей, несмотря на грозные взгляды его «охранников», дал мне что-то поесть из своей передачи, не помню что, но вкусное и питательное. Вообще, я понимал, что он мне сочувствует, он и смотрел на меня иначе, чем на других. Но помочь боялся.

На прогулку я пойти не мог: голова раскалывалась от боли и даже приподнять ее с досок нар было больно. Однако, приподниматься пришлось: с вечера второго дня начался кровавый понос, лишивший последних сил.

Утром на проверке еврей настоял на вызове врача, чему всегда отчаянно противились надзиратели. В камеру вошла женщина в белом халате, сунула мне под мышку термометр и велела собрать вещи.

Действительно, через полчаса дверь камеры отворилась и дежурный сопроводил меня к дверям из подвала. Где и куда он там вел — уже не вспомню, но этаже на третьем или четвертом отворил дверь в небольшую светлую комнату, конечно с решетками, где сидела за столом пожилая медицинская сестра.

Дежурный вышел. Мы остались одни. Она спросила меня, на что я жалуюсь. Я все объяснил. Температура оказалась под сорок.

— А вы давно такой худой? — спросила женщина. Я вообще-то не привык считать себя особенно худым (при выходе из окружения и в плену я был истощенным, но всегда полагал, что лицо у меня округлое).

— А разве я очень худой? — в свою очередь осведомился я.

Женщина глянула вокруг, подошла к ширме за моей спиной и знаком предложила глянуть на себя (я уже был совершенно голый) в стоявшее там трюмо. Я глянул и не узнал себя: на тощем треугольнике лица горели два ввалившиеся угля-глаза. Все ребра, все кости бедер показались мне обнаженными. Я был скелетом, обтянутым прозрачной бледной кожей, такой тонкой, что, казалось, вот-вот кости прорвут ее и выглянут наружу.

Никогда не думал, что люди могут быть такими. Я вспомнил иллюстрацию к одной книге какого-то иностранного писателя, описывавшего страшную жизнь шахтеров в капиталистическом мире. На картине изображены были такие худые подобию людей (автор писал о больных силикозом шахтерах), что я твердо решил: переборщил, таких худых быть не может. Увы, на собственном примере я убедился, что такие люди могут быть, есть и, что я — один из них, только еще более худой.

Когда меня, вызвав дежурного, сестра проводила в камеру-палату, я вошел в нее и сразу же у дверей увидел двух, недавно взятых из нашей камеры. Они лежали поблизости от параши. В камере стояли железные кровати, ножки которых были наглухо вставлены в бетонный пол. Было в камере человек восемь-девять. Она показалась мне светлой. На одной из коек лежал огромного роста «скелет» с крупными чертами волевого лица. Спросив меня, по какой я статье, он, кряхтя, повернулся на другой бок и замолк.

Меня положили на свободную койку (ее владельца, мертвого, вынесли перед моим приходом). Я с наслаждением улегся на чистую простыню.

Отворилась кормушка. Дежурный сделал переключку, а затем загремели замки и в камеру-палату вошла красивая молодая врачиха с большими добрыми глазами. Она быстро осмотрела каждого, послушала и, улыбнувшись, вышла. И у всех на душе стало легче. Женская добрая улыбка может согреть и вернуть к жизни. К сожалению, говорить она не имела права ни с кем из нас ни о чем, кроме здоровья. За ее спиной всегда стоял мужчина надзиратель.

Через несколько часов я уже почувствовал себя лучше, хотя температура была высокой и понос продолжался.

Вдруг я заметил как верзила, первый спросивший меня при входе в палату, по какой я статье, как-то странно задышал и тихонько засопел. Уснул.

В обед через кормушку подали несколько мисок жидкого супа. Каждый подходил к кормушке. Верзила не подошел. За него получил другой, и, когда кормушка закрылась, разделил миску супа на всех.

— А он — что? — спросил я, кивая в сторону верзилы.

— Он уже есть не будет, — тихонько усмехнулся тот, что разделил порцию на всех. — Не видишь, что ли? — При этом он сделал какой-то странный жест и кивнул головой. Я опять посмотрел на верзилу. Тот никак не реагировал, лежа спиной ко мне. Другой больной подошел к нему, пристально поглядел и вытащил у него из-под подушки миску прокисшей каши. Ее тут же тоже разделили на всех. Я почему-то отказался: или противно показалось или из-за высокой температуры не хотелось есть, не знаю.

Еще один больной подошел тоже к верзиле и стал тщательно обшаривать матрац под ним, откуда вытащил тощий кисетик из-под табака.

Через полчаса мертвеца вынесли. Позднее я узнал, что это был Сашка Фарафонов по прозвищу «Семафор» — гроза лагерей Норильска, самый главный блатной, неоспоримый вождь норильских уголовников.

Однако, и те, кто поживились его кашей, не оказались долговечными. Люди умирали тихо, кладя под голову порцию каши или кусок хлеба. Что-то бормотали, постепенно затихая, совсем незаметно. Так в течение трех дней в палате умерли еще трое. Не скрою, мне тоже перепало из их несъеденных порций хлеба и каши.

Температура у меня еще была повышенной, но чувствовал я себя значительно лучше. И вот на четвертый или пятый день моего блаженства на настоящей кровати (вспомним, что на кровати я не лежал уже более трех лет), дверь отворилась и меня вызвали «с вещами». Я быстро оделся и вышел в коридор, где уже находилось несколько, вышедших из больничных палат. Нас пересчитали, проверили по личным делам и повели вниз, где во дворе уже стояли на коленях человек восемьдесят или сто отправляемых. Нас тоже поставили на колени, еще раз всех пересчитали, подняли по команде и загнали в грузовик, где сперва мы все стояли, а потом, как стояли, так и сели. На заднем борту сели конвоиры, сапогами очистив себе место для ног, и два или три грузовика тронулись в короткий путь, опять к вокзалу. Здесь нас погрузили в вагонзак по тридцать два-тридцать три человека в каждое купе — и вскоре поезд тронулся.

Удивительное дело: мой понос прошел. Чем это объяснить — не знаю. Слабость была дикая, температура, по-моему, была, но поноса не было. Через сутки мы очутились в Молотове (Перми), где наш этап не приняли и нас снова повезли в Киров, где разместили в тех же подвалах, только по другим камерам.

8. СНОВА ЭТАПЫ. ПОЛЬСКИЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

В той камере, где очутился я, Бруно уже не было. Еще недели через две нас повезли в Свердловск (Екатеринбург), где находилась одна из центральных пересылок. А вообще-то их было сколько? В Котласе, в Куйбышеве, Челябинске, потом в Новосибирске, Иркутске, Оренбурге, и несть им числа.

В Свердловске режим был относительно мягкий. Пересылка находилась где-то в центре города, по-моему, в ней даже было нечто вроде бассейна, конечно, не для плавания. Не помню уже, была ли в нем вода. Но вид, по сравнению с другими пересылками был более опрятный. Во двор, где было подобие бассейна, выпускали не всех. Нас держали в большой камере вместе с бытовиками.

Я чувствовал себя уже лучше и сам предложил что-нибудь почитать. Выступление имело успех. Интересно, что когда я выступал, то забывал о своих отекавших ногах, своей слабости, о голоде и болях. После какого-то чтения ко мне подошел один, сравнительно сносно одетый зэк, узнал фамилию. Я сказал, что являюсь артистом (зачем кому-то знать, что я только учился им быть?..). Незнакомец ушел (бытовики могли свободно ходить по камерам и выходить во двор). Только на время проверок они должны были находиться в камерах, где числились. Вскоре он вернулся еще с одним зэком. Тот поговорил со мной, остался всем доволен, кроме одного: каторжник.

— Каторжан нельзя, — сказал он со вздохом. — Никто не разрешит. Бесполезно.

Из Свердловска нас повезли снова в Пермь. Но оказалось, что Пермь принять не может и вернули в Свердловск. А уже оттуда через два-три дня повезли в Новосибирск. Конечно, о маршрутах мы тогда не знали — все это было государственной тайной, но некоторые, знавшие эти края, всегда правильно определяли направление.

Здесь, в вагонзаке, к нам в купе на одной из остановок втолкнули одетого в модный зеленый костюм мужчину лет сорока, примерно, который отчаянно сопротивлялся, требовал начальника конвоя, грозил сообщить прокурору и т. д. До сих пор клянусь себя, что, разговорившись с ним, не спросил и не запомнил его фамилию. Помню только, что он был не советским подданным, а поляком, корреспондентом одной из американских или английских газет и имел статус иностранного корреспондента, то есть был неприкосновенным. Схватили его чуть ли не в Куйбышеве и вот уже неделю или две таскали по этапам, не объясняя причины. Его так и не освободили, по-моему.

Через несколько дней нас привезли в Новосибирск. Шел дождь и конвой не мог отказать себе в обычном маленьком удовольствии: выгрузив, поставить всех на колени в грязнущие лужи. Так на коленях сделали проверку. Затем на нас надели наручники, соединив ими целую шеренгу. Вещи приказали бросить на подводу, окружили собаками и повели «врагов народа» по городу. Люди оборачивались. Некоторые останавливались. Один какой-то мужчина бросил пачку папирос и скрылся в толпе. Прикованные друг к другу, все же попытались как-то поднять злополучную пачку. Строй нарушился. Конвоиры отчаянно ругались, отгоняя любопытных. Собаки лаяли. Так мы шествовали до самой огромной пересылки.

Здесь сняли наручники. Проверили по делам. Повели на медосмотр, где некоторых наиболее истощенных, в том числе меня отправили в барак «на слабосилку». Тут давали пятьсот граммов хлеба и чуть гуще приварок. Здесь запомнилась врачиха заключенная Берта Борисовна из Минска. Ей дали десять лет заключения по статье пятьдесят восемь десять (враждебная агитация). Она слушала как-то немецкое радио еще перед войной. Об этом кто-то донес и участь женщины была решена. Началась война, когда она еще находилась в минской тюрьме. При эвакуации ей оторвало осколком бомбы ногу ниже колена. Шедшие с заключенными знакомые медики спасли Берту Борисовну. Она была превосходным врачом, знала по научным работам моего дядю, усыновившего меня после смерти родителей Бориса Ильича Клейна, профессора. О его судьбе она ничего не слышала. Относилась она ко всем больным или слабосильным исключительно хорошо, внимательно, с сочувствием, хотя знала, что среди таких, например, как мы, каторжники, могут быть люди, замешанные в предательстве или убийствах евреев. Но она была ко всем одинаково внимательна и сердечна. К сожалению, того же нельзя сказать о ее начальнице, русской врачихе. Та открыто обзывала нас фашистами и говорила, что надо расстрелять, а не панькаться с нами. Не знаю, от советского патриотизма или от личного характера было такое. Но она грубила и

Берте Борисовне, при нас, подчеркивая подчиненное положение заключенной.

В Новосибирске мои ноги были еще в отеках. Заходя в уборную, я ожидал, чтоб кто-нибудь помог мне поднять ногу на ступень возвышения, куда становились, чтобы мочиться. Сам поднимать отекавшие ноги я не мог.

Не помню уже точно, где, в Свердловске или Новосибирске, на пересылке (а может быть, это было в Перми, потому что отлично помню, что это было в тюрьме, а не в лагерной пересылке) к нам в камеру втолкнули человек двадцать или больше малолеток, мальчишек двенадцати-пятнадцати лет. Это была отчаянная шпана. Ругаясь и смеясь, они разом, как обезьяны, стали вскакивать на верхние нары, кувыркаться, бороться друг с другом, орать. Пожилым каторжанам, в основном находившимся в камере, эта возня, понятно, не понравилась. Однако, урезонить мальчишек им не удавалось. Вдруг одному из стариков пришлось в голову перенести внимание малолеток на меня. «А вон там, — сказал он, указывая на меня, — лежит жид-артист. Попросите у него, чтоб он вас позабавил, а от нас отстаньте».

Предложение имело обратное воздействие. Узнав, что здесь артист, мальчишки насторожились и попросили меня «рассказать что-нибудь». Я с охотой, сразу почувствовав аудиторию, начал рассказывать, сперва чеховского «Хамелеона» в лицах, потом некоторые короткие детективные рассказы, вроде «Пропавшего письма» Эдгара По. Аудитория оказалась благодарнейшей и ненасытной: им все время требовалось еще рассказывать и еще. Читал я поэмы — «Братья-разбойники», «Мцыри», приводившие ребят в восторг. Когда наступила пора обеда, малолетки хором потребовали от дежурного «Артисту добавить миску», и это требование было настолько дружным и настойчивым, что надзиратель дал-таки мне лишнюю миску баланды. К сожалению, такого нарушения равенства не смогли вынести мои товарищи-каторжане: кроме всего, им хотелось поспать после «еды», а «артист не давал». Они начали меня ругать, пытаться мешать рассказывать, громко крякать, кашлять и так далее, благо ни к чему, кроме рассказов о «сале, щах» интереса не проявляли. Когда их поведение стало особенно хамским, я стал читать «Валашскую легенду» Горького. Ее последние строки я читал, обратившись лицом к мешающим:

«А вы на земле проживете,
Как черви слепые живут;
Ни сказок про вас не расскажут,
Ни песен о вас не споют».

Наградой был гром аплодисментов. Мальчишки выли от восторга и, забывая о том, что я — «каторжный по пятьдесят восьмой статье», бросились обнимать меня.

Кто же были эти веселые преступники? В большинстве они сидели за воровство. Некоторые — воровали из-за голода: отцы на фронте, матери нет, умерла... Другие воровали, втянутые в преступные компании старшими. Некоторые оказались из хороших семей, но их привлекла «романтика» преступного мира. С одним из них ночью я тихонько разговорился. Он тяготился своей судьбой. Родители у него занимали какие-то довольно высокие посты. Он пообещал мне, что как только выйдет на свободу, а сидеть ему оставалось недолго, то навсегда порвет с преступным миром. Другой паренек тоже исповедовался мне и тоже без моего совета решил бросить «романтику» блатного мира. К малолеткам отношение надзирателей было хорошее. По утрам им давали больше хлеба и приварок из другого котла, более жирный. Большинство ребят, однако, занимаясь воровством, мечтало о фронте, бредило подвигами и настроено было откровенно патриотично. Иные даже боялись, что война закончится победой без их участия. Здесь малолеткам давали читать газеты. И мне нетрудно вспомнить время, когда я оказался с ними (очевидно, это было все-таки в Молотове или Свердловске), так как газета, которую и я прочел с жадностью, сообщала о высадке союзников в Нормандии, о том, что в высадке участвовало

одиннадцать или четырнадцать тысяч самолетов, сколько-то военных кораблей и так далее. Примерно в те же дни из газет мы узнали о неудавшемся покушении на Гитлера и расправе с участниками заговора. Становилось ясно: дело фашистского райха безнадежно проиграно, его падение—вопрос недалекого будущего. Однако, через некоторое время из газет же мы узнали, что немцы сплошь и рядом в контрнаступлениях добиваются отдельных успехов и можно было догадаться, что завтра война еще не кончится. Кроме того, ничего нового в газетах мы не нашли о войне на Тихом океане. Много было славословия в адрес Сталина. Но к этому все привыкли. Видно, оправившись от сорок первого года, снова нашли возможным обожествлять человека, больше доверявшего Гитлеру, чем своим соратникам. Но... вернусь в Новосибирскую пересылку.

Как-то я зашел в туалет и, увидя там другого зэка, попросил его помочь мне поднять ноги, что он и сделал. Когда я осторожно стал спускаться со ступени, вошла начальница медсанчасти. Находившиеся в уборной дружно вытянулись в приветствии, я же, спускавшийся, замешкался. Этого оказалось достаточным для взрыва гнева. Она стала кричать на меня, всячески обзывая «гитлеровцем», «фашистом», «изменником» и так далее. Я молча слушал. Вошла и Берта Борисовна. Спросила, в чем дело. Я объяснил, что замешкался, так как отекавшие ноги меня не слушаются. Берта Борисовна подтвердила правду моих слов. Это вызвало новую вспышку гнева начальницы. Та накричала на Берту Борисовну, а мне велела идти в общий барак, прочь со слабосилки. Кстати, в этот свой наскок она еще нескольких выписала из слабосилки. Протесты Берты Борисовны разбивались о несокрушимую «идеологию» патриотически настроенной начальницы...

Не случайно она нас выписала. Часа через три-четыре всех или почти всех каторжан построили, надели наручники, и снова, на этот раз дождя не было, повели через город к задворкам вокзала отправлять куда-то еще дальше. Мне запомнилась Берта Борисовна. Ей уже тогда было за сорок. Небольшого роста, прихрамывая, она делала медицинский обход, и для каждого находила доброе слово и все мы чувствовали, даже самые черствые, что это не просто слова, что за ними — человек, понимающий и, увы, разделяющий наши беды и горести.

Не буду описывать путь в Иркутск. Он похож на все другие. А о прибытии стоит рассказать особо: уж больно оно оказалось необычным, где рядом шли смех и слезы, еще более подтверждавшие нелепость нашего положения.

С некоторыми, знакомыми еще с Кирова или Свердловской пересылки, я встретился в Новосибирске как со старыми товарищами. В этапах мы быстро знакомились и быстро забывали друг друга. Запоминались лишь отдельные, необычные встречи, как с корреспондентом — иностранцем, например, о чем я упоминал немного раньше. Скажу лишь, что этапа многие, в том числе я, ждали иногда с нетерпением: выдавали сухой паек на три-четыре дня, а это значило, что хоть один-полтора раза удастся поесть почти вдоволь хлеба, заглушить голод, хотя наесться при хроническом, как наше, недоедание, невозможно.

9. «ЛИРИЧЕСКИЕ ОТСТУПЛЕНИЯ»

«Недолгая нас буря укрепляет,
Хоть мы внезапно ею смущены,
Но долгая — навеки поселяет
В душе привычки робкой

тишины».

Я любил и люблю это стихотворение Некрасова, как и многие другие его стихотворения и поэмы, являющиеся, как и пушкинские и лермонтовские, спутниками моей жизни на всех ее этапах (да простят мне читатели употребление и здесь гадкого слова «этап»). Действительно, люди, умевшие смотреть смерти в глаза, не моргая, выносившие невзгоды в боях или в плену, по несколько дней не имевшие маковой росинки во рту при голодных выходах из окружений, а то и в

блокадном Ленинграде, при недоедании, длившемся уже не несколько недель или месяцев, а несколько лет, становились неузнаваемыми, духовно перерождались, теряли всякое понятие о достоинстве, а нередко и честности. Простите, но и я подбирал крошки с пола, если видел их, жадно подбирал с земли на прогулке по тюремному двору гнилую или мороженую картошку (и это было счастьем, если таковая добыча попадалась). Я мог просить докурить; обжигая губы, докуривал ошметок сигарки, мокрый от слюней предыдущего курильщика. Брезгливость, правда, чуждая мне с детства, как сыну бактериолога, окончательно покинула меня в заключении и рыбная косточка, поднятая с пола, помогала мне утолить голод, постоянно преследовавший меня. Нельзя забывать, что заключению предшествовали годы фронта и плена, когда наедаться досыта удавалось далеко не часто. Самое страшное при заключении — первые годы. На них падает наибольшее число смертей. Через два года примерно человек адаптируется, хотя к голоду привыкнуть нельзя, но к обстановке можно. С третьего года смертность уменьшается, с четвертого она еще меньше. Люди, отбывшие первые четыре-пять лет, уже настолько отвыкают от свободы (пусть самой относительной), что их тоска уже меньше гложет, их мысли перестраиваются на лагерно-тюремный образ жизни. Но первые годы, особенно самый первый год страшны. В вас еще живет понятие отнятой свободы, вы еще не примирились с мыслями о потере семьи, еще надеетесь на чудо, в вас еще не поселились тюрьма или лагерь. Ваш каждый сон уносил в другую, потерянную жизнь. Вы еще не в силах примириться с этой потерей. Мне каждую ночь снятся немцы, плен, побеги из плена. Каждый раз во сне уже кто-то знает, что я еврей, мне не удастся избежать медосмотра, меня хватают, ведут на казнь. Я вижу вокруг лица вохоновцев, крестьян деревни, из которой я убежал. Я вижу своих следователей, ухмыляющихся заодно с немцами и нередко помогавшими немцам докопаться до моего происхождения...

Но вернемся к этапу. В Иркутске нас выгрузили, проверили по делам и, надев наручники, повели по городу. Жители с презрением глядели на нас, иные отпускали реплики, вроде «у-у, бандитская морда», «сразу видно, что предатель», «стрелять вас всех надо», «зря помиловали» и тому подобные.

Погода была отвратительная, шел мокрый снег, перемешанный с дождем. Еще на вокзале при выгрузке мы настоялись на коленях в лужах пока нас повели, а тут еще и наручники больно въедались в руки. С нетерпением ждали тюрьмы: там хоть тепло, не течет за шиворот, можно как-то растянуться на нарах. Однако, когда нас заведя в тюремный двор, поставили там всех на колени в очередной огромной луже и начали проверять по делам, выкликнутых освобождая от наручников и впуская в тюремные двери, произошел казус: сломался ключ, которым открывали наручники. Сперва люди терпели, стоя на коленях под дождем. Но, когда железо стало все более въедаться в кожу, начался общий вопль. Люди были доведены до отчаяния. Раздавались требования расстрелять, но прекратить издевательство. Тут уж удержу не было. Науськиваемые собаки уже не страшили. А ключа все не могли найти. Длилось это около двух часов, не меньше. Наконец, ключ, новый, принесли и стали отмыкать наручники и чуть у всех отомкнули (тут было не до переклички) весь этап хлынул в двери тюрьмы, в тепло, в «рай земной»... Люди, забыв обо всем, сбивая друг друга с ног, стремились к заветным дверям. На своих отекавших ногах я только приподнялся и тут же был смят, упал в грязь, а по мне затопал чуть не весь этап. Напрасно один симпатичный пожилой украинец кричал: «Обережно! Людына ж, що вы робыте») я, виноват, не помню фамилии этого доброго человека. Но он был один. Наконец и я смог приподняться и проковылять в тюрьму, где уже по камерам нам сделали перекличку.

Человек — на редкость чуткое животное. Неправда, будто он ориентируется в окружающем мире хуже какого-нибудь зверя. На фронте уже через час, редко полтора даже новичок безошибочно по звуку летящих мин и снарядов может определить, какие из них для него безопасны, перелет или недолет, какие предназначены левому или правому флангу роты, какие летят в батальон (к штабу), какие еще

глубже в тыл, какие несут смерть ему. По звуку летящих самолетов мы точно определяли, какие наши, какие немецкие. У последних был более резкий свистящий звук и политработники объясняли, что это от того, что у Германии некачественный бензин, а потому звук такой (еще одно доказательство, что гитлеровская армия с самого лета сорок первого года была при последнем издыхании...). Ходя в разведку, мы сразу определяли в лесу, что в нем уже побывали немцы: не только по запаху сигарет, но и по чуждому нам «казарменному духу», свойственному, вероятно, разным армиям. Выходя из окружения, также безошибочно определяли, что до нас уже шли этими тропами или бездорожьем — и кто, свои или чужие. Примятая трава указывала направление, в котором шли до нас. Количество «военных примеров» может быть увеличено лагерными или тюремными.

Каждая новая тюрьма, в которую нас бросала пересылочная судьба, сперва представлялась глухой, немой, звуконепроницаемой. Но уже через два-три дня мы свободно ориентировались во всех событиях тюремного образа жизни. Гремят ключи. Топот ног. Это выводят на прогулку. Другой характер шагов, когда с нее возвращаются. Выгоняют в коридор на шмон. Идут с проверкой. Обход врача, начальства и так далее. Выгоняют на этап. Конечно, первое место в усвоении «звукового режима» занимали шумы, связанные с выдачей пищи, утренних паек хлеба, кипятка, чая (так именовали подслащенный сахаринром или сахаром кипятком, напоминавший чуть желтоватую мочу). Раздача баланды в обед или в ужин — все фиксируется чутким ухом арестанта. Выходы на opravку и вынос параш имеют особенное значение как и посещение бани. Во время этих выходов, чем умело пользовались блатные, можно незаметно установить контакт с надзирателем, предложив ему какую-нибудь соблазнительную «тряпку», чудом уцелевшую во время этапов и «прожарок» в дезкамерах пересылок или тюрем. Выходя, можно иногда выклянчить у какого-нибудь надзирателя, а их характеры мы быстро осваивали и знали, наверное, лучше, чем их жены и близкие, окуроч. В уборной можно ухитриться оставить «ксиву» в условленном месте для приятеля из другой камеры. «Ксива» (записка, на блатном языке) куда вернее, чем «конь», спускаемый из окна одной камеры в другую, нижнюю. «Коня» легко заметит наружная стража и всей камере не поздоровится: начнут тягать к оперуполномоченному, выпытывать, кто посмел спускать «коня», кому; где взял карандаш, бумажку и так далее. Всю камеру из-за одного «коня» могут посадить на карцерный паек, если никто не стукнет о виновнике. Но... это относится к мелочам тюремного быта. О нем, вероятно, еще не раз придется вспомнить.

В иркутской тюрьме, как и в Кирове, как в дальнейшем узнаем, в Александровском центральном, тогда было печное отопление. Печи, естественно, находились в коридоре, откуда топили, насколько могут понять, дровами. Истопниками, как и банщиками являлись эки-малосрочники, обычно заключенные за мелкие провинности — опоздания, мелкое хулиганство, воровство в столовых или магазинах. При ловком подходе, а блатные, не раз побывавшие в тюрьмах, это умели, легко удавалось брать ээка «на крючок», то есть, втянув его в какую-либо запрещенную режимом сделку (пусть даже передачу «ксивы» в другую камеру), затем угрозами, шантажом заставить несчастного выполнять и дальнейшие поручения отнюдь не безобидного характера. Надзирателей опытные завсегда таи тюрем также без особого труда брали «на крючок» и служака становился подчас связующим звеном между заключенными и их родственниками или знакомыми на воле, по ту сторону тюремной ограды или колючей проволоки. В пересыльных тюрьмах это было особенно удобно, так как здесь, как мне думается, еще не успевали завести стукачей из числа заключенных и, кроме того, надзиратели были смелее, так как знали, что их «подопечные» будут со дня на день этапированы дальше. Иногда некоторым из пятидесяти восьмой статьи тоже удавалось подать о себе весточку на волю, регулярно сообщать о своем местонахождении и получать даже посылки, благо последние не были запрещены, как переписка.

Мечталось ли тогда, в этапах? Боюсь, что нет. Слишком притуплены

оказались все понятия и чувства. Вспоминал ли я Валю, ту, о которой думал во время бомбежек в плену, которая провожала меня на фронт? Теперь, анализируя чувства прошлого, я прихожу к мысли, что эту любовь я, неопытный романтический юноша, возможно, себе выдумал. Но это теперь. А тогда я был убежден, что был влюблен, что у нас была большая любовь. А так как я провел три года — и потом еще десять с лишним — без женского общества, то естественно, что последняя любовь, если это была она, поневоле оставалась единственной, неповторимой, священной и т. д. Но, если иногда в плену я вдруг мог подумать, что встречу Валю и смогу ей помочь, выручить ее, благодаря своему, пусть подневольному, положению переводчика, с которым художественно все должны считаться из-за его знания языка, то здесь о чем-либо похожем мечтать не приходилось. Не хотелось, чтоб меня видели униженным, побитым, еле живым доходягой, у которого

чуть пониже поясницы,
у крестца,
тускло кожа серебрится:
признак скорого конца...
Не помогут Сочи, Гагры
(да и кто их помнит тут?),
от цинги и от пеллагры,
словно мухи, люди мрут.
Отекли, опухли ноги,—
словно в матовом стекле.
Знать, по жизненной

дороге

отшагал я по земле...

Вот таков портрет мой в то время. Правда, когда нас вели этапом по какому-либо городу, я осторожно поглядывал по сторонам, и хотел и боялся увидеть кого-либо из знакомых. Хотел, потому что всегда безумно дорожил связью с прошлым, боялся — так как понимал, что заставлю только ужаснуться, если, паче чаяния, меня вдруг узнают. При встречах с тюремными врачами я, если поблизости не оказывалось надзирателей, пытался узнать о дяде Борисе. Увы, сыворотку по Клейну все врачи проходили еще в медицинских институтах, а о судьбе Клейна не знал никто. Лишь значительно позднее я понял, что мне в заключении было значительно легче, чем моим сокамерникам, независимо от их отношения ко мне. Со мной можно было сравнить только молодежь моего возраста. Но большинство арестантов составляли люди пожилые, для которых разлука с семьями, с женами, детьми, а подчас и внуками являлась более страшной, чем для молодых, ни с кем по-настоящему не связанных каторжников. Действительно, кто был у меня? Кого я оставил на воле? Семидесятилетнего старика дядю Бориса, усыновившего меня старого холостяка, и студентку третьего курса актерского факультета Валю, в которую, кажется, влюбился, как и она в меня (тут без «кажется» обойтись никак нельзя)? Старик, самое страшное, что могло произойти, погиб в оккупированном Киеве или при эвакуации. А Валя?.. Почему-то не верилось, что она может быть с другим и не раз она мне снилась... Я звал эти сны:

и там уже

Появись хоть во сне. Иль

былых?

Места нет для видений

замужем...

Ты,
на фронт проводившая,

родных.

Я — один,
без тебя и

людной,

Я один в этой камере

одинок.
паскудно и скудно,
паек.
короткий,
покажись;
пальцы решетки,
сверху вниз...

И любой вокруг меня
Все здесь нудно,
Как голодный тюремный
Появись хоть на миг, на
В самой дальней дали
На, как солнце сквозь
Не смотри на меня

10. СЕМЕЙНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ (КИЕВ. ДОМ ВРАЧА)

Земляков-киевлян я в этапах не встречал. Но от других украинцев слышал о страшных расправах над евреями в Киеве, о массовых расстрелах.

Неужели они могли расстрелять дядю Бориса? Адель Генриховну, Лялю, тетю Бэллу, родителей Соли — всех дорогих, близких мне с детства людей?

Я понимал, что если дядю, крупного ученого, будут эвакуировать, то он ни за что не поедет без своей пассии, Адель Генриховны, работавшей с ним в лаборатории на дому с 1915 года, ставшей ему родным человеком. Ее преданность была проверена тридцать восьмым годом. Когда дядю арестовали, не раз вызывали и ее, шантажировали, угрожали. Но она не сказала ни одного слова против него, а наоборот обвиняла в клевете тех, кто, поддавшись на уловки следователей, пытался оклеветать старика. Неужели их уже всех нет в живых? Соля, лучший друг моего детства, я знал, был в армию взят еще до войны. Вот его бы я хотел встретить. Я знал, что он мне не изменит и чем сможет, поможет. А вдруг, думалось мне, он уже офицер (а в это время Соля уже давно лежал где-то в братской могиле, убитый или расстрелянный в результате бездарного вяземского окружения в сорок первом) Виктор Кот и Степан (впоследствии Виктор был солистом Рижской оперетты), а Степана я так и не нашел. Адель Генриховна Скоморовская (она была родственницей известного руководителя оркестра Якова Скоморовского) чуть разрешили передачи, стала носить их в тюрьму. Она героически отстаивала до того мои права на квартиру, из которой меня выселяли, из-за чего я вынужден был уехать к родным матери в Куйбышев. Муж Адель Генриховны, Григорий Яковлевич Козинский, был юрисконсультom или кем-то в этом роде. Это был милейший и честнейший человек, скромный и мужественный, очень добрый, умевший с мягким юмором отнестись к моим юношеским похождениям, начиная с курения и, кончая легкой выпивкой и вечерними прогулками под руку с барышнями по Крещатику или парку.

Когда нахлынут эти воспоминания, не могу не припомнить тяжелых месяцев, когда арестовали дядю Бориса. Его арестовывали дважды, в 1931 и в 1938 году. Как сейчас помню, я гулял возле дома в малюсеньком скверике, как вдруг подъехал извозчик, а в нем... дядя Борис. Я бросился к нему, а потом в общую кухню (тогда было трудно с продуктами, и жильцы «Дома врача» организовали общую кухню в полуподвале, где готовили на все немногочисленное население 32-х квартирнного дома (две однокомнатные на крыше — не в счет).

— Лъонкль этиси! — Заорал я (дядя здесь (франц). Почему я заорал по-французски — не знаю. Сока (Софья Карловна Шепе, воспитывавшая меня и ведавшая всем хозяйством по дому, ахнула, передала срочно свое дежурство по кухне кому-то другому и поспешила в квартиру. Через несколько минут туда пришла старушка, жена профессора Нещадименко, которого арестовали в одну ночь с дядей. Все охали, ахали. Дядя выглядел неважно. Вдруг прибежала домработница Нещадименко и возгласила, что он тоже вернулся... Это было, помню,

семнадцатого апреля тридцать первого года. Я ранее не слышал, как арестовывали дядю. Но утром мне сказали и предупредили, чтоб я не говорил дедушке. Он был вовсе глухой и тоже не слышал ничего. Ему сказали, что дядю срочно вызвали в командировку в Москву и он поверил. Только через полтора месяца пришлось все объяснить деду.

Прошло несколько дней или недель и ночью снова пожаловали «гости». На этот раз они искали золото. С ними был какой-то еврей, который когда-то или имел ювелирный магазин, или был часовщиком. Теперь его таскали по всем его прежним клиентам. Дядю увезли. Девяностотрехлетнего дедушку тоже. Затем привезли дядю. Я видел: он вынес из своей комнаты маленькую коробочку. В ней, знаю, были золотые массивные часы с цепочкой, наручные золотые часы, подаренные ему какими-то слушателями курсов еще до революции, золотая табакерка прадедушки, сережки, браслет и медальончик покойной бабушки. Дедушку вскоре отпустили. Он был невероятно глух и от него ничего не могли добиться. Впрочем, у него ничего и не было. Насколько я мог понять из разговоров взрослых, он всех там, куда его привезли, начал ругать и они махнули рукой на старика.

Да, тогда арест длился сравнительно недолго; почти все время разрешалось носить передачи, и Сока, встав ни свет ни заря, носила их дяде. Сока заменяла мне тяжело больную мать, уже почти не поднимавшуюся с постели. У нее была открытая форма туберкулеза. Она боялась заразить меня и я поцеловал ее только один раз, в мертвые руки, сложенные под саваном на груди. А через полгода ночью у меня на глазах, мы спали в одной комнате, от сердечного приступа вдруг умерла Сока, не дожив трех недель до тридцати шести лет. Через полтора года умер дедушка.

— У кого хоронят?

— Опять у Клейнов.

Мы остались с дядей одни в большой кооперативной квартире. Домработница готовила и убирала. Смерть Соки поразила меня. Больше месяца я провалялся с нервным заболеванием.

И вот в ночь на второе февраля тридцать восьмого года я проснулся: пахло дымом. А у нас никто не курил. Я открыл глаза и увидел в проеме двери плечо офицера ГПУ. Я побежал в комнату к дяде Борису. Как раз его собиравшись увести. Рядом с ним стоял огромного роста безбровый латыш, старший в этой бригаде. Дядя попросил стакан чаю. Латыш грубо рявкнул: «Там дадут». Дядя обратился ко мне, чтобы я хорошо учился и знал, что он невиновен ни в чем. Латыш грубо оторвал его от прощального поцелуя и повел к выходу. Оттуда донесся рокот уезжавшей машины. Осталось три офицера ГПУ, делавшие повальный обыск. Уже мать умерла. Уже не было Соки. Офицеры были в чинах капитанов. Высокие, крепкие люди лет тридцати пяти. Лениво копаясь в дядиных бумагах, они иногда отпускали шутки, вроде: «Где ж тут пулемет» или «Снаряды». Я понял, что и они не верят в виновность дяди.

А потом в школе меня вызвал директор и стал убеждать отречься от дяди. Я заявил, что не буду отказываться от него, так как уверен в его невиновности и в том, что его выпустят (я-таки верил в торжество справедливости). Директор напрасно пытался переубедить меня, пытался грозить, но я не поддался на его угрозы. На собрание, где кто-то отказывался от своих родителей (было такое проведено в школе, где у половины почти родители находились в заключении), я вообще не явился. Затем ко мне стали подходить первые наши комсомольцы в классе и тихонько убеждать меня. Они считали за честь быть знакомыми с моим дядей, а тут уговаривали отречься от него. Оба отличника до того числились в моих друзьях и часто бывали у нас дома. Теперь они не появлялись там. Но зато в школе пытались «воздействовать» на меня. Кончилось это через несколько дней тем, что я послал их «далеко, далеко». Они как будто успокоились. Но позже я узнал, что они и еще кто-то продолжали за мной следить. Правда, один из них вскоре отстал: у него самого посадили отца. Но первый, Дуська, закончивший затем школу с золотой медалью, уже тогда начинал делать карьеру... Мне пришлось уехать к маминому брату в Куйбышев, где я с грехом пополам закончил школу и затем поступил в театральный институт в Ленинграде.

Все это время я поддерживал переписку с Адель Генриховной. И вот, едва сдав вступительные экзамены на актерский факультет, я получил телеграмму, что дядя Борис освобожден! Его и профессора Нецадименко, взяв в одну ночь, выпустили в один день, продержав под следствием полтора года. Ежова сменил Берия и сразу разгрузил тюрьмы. Лучшее довоенное общежитие, какое я тогда видел, находилось в Куйбышеве (Самаре)... в тюрьме. Все ее камеры-одиночки стали комнатами. В каждой поселили по четыре студента.

Хочу отдать должное мужеству маминого брата Арона Яковлевича. В гражданскую войну он был военным врачом у Колчака и очень хорошо отзывался об адмирале. Тогда ему удалось спасти от красных красавицу, дочь белого генерала Алексеева. Вскоре она родила ему двух прелестных мальчуганов и... уехала от него... опять же с евреем. Дядя Арон сам воспитывал детей, о которых мать вспомнила после их совершеннолетия. Арона Яковлевича, главврача железнодорожной больницы в Оренбурге, арестовали в тридцать седьмом, но при приходе Берии освободили. Дядя переехал в Куйбышев, где стал главным врачом центральной поликлиники. Это был великолепный человек и прекрасный специалист. Не в пример другим освобожденным, боявшимся какой-либо связи с бывшими в заключении, дядя Арон вызвал меня и приютил, как своего третьего сына. Обо всех этих людях и обстоятельствах я не раз вспоминал в тюрьмах и во время этапов. А вдруг бы встретить дядю Арона?!.. Люди прошлого — не только у меня — жили в мыслях, напоминая о чьей-то сходной судьбе, как-то поддерживая надежду, в чем-то вселяя мужество.

И еще вспомнился мне эпизод, связанный с арестом дяди Бориса. Шел четвертый месяц после его ареста. Как-то поздно вечером я был один в квартире. Она казалась особенно неудобной. Четыре комнаты запечатаны. Узкий коридор соединяет черный и парадный ходы и в нем одинокая незапечатанная комната — моя. Та, в которой умерла Сока, где теперь жил с тех пор один я, хотя комната именовалась столовой и даже посередине ее стоял большой старый неуклюжий стол. Я уже лежал в кровати и по обыкновению читал. Вдруг раздался звонок в парадную дверь. Неужели дядя, мелькнуло в голове, я все время продолжал надеяться на его возвращение. Я бросился к двери и приотворил ее. Через цепочку я увидел высокого человека лет тридцати, как сейчас помню, в белой рубашке с отложным воротником и в серых брюках. «Откройте, пожалуйста, не бойтесь, я от Бориса Ильича.— Быстрым шепотом сказал он. Я моментально открыл. Он вошел в коридор: «Никого нет?» «Никого».—Успокоил я. Мне кажется, он волновался.

— Что с дядей? Где он? Здоров ли? — Засыпал я его вопросами.

— Жив, здоров. — Ответил он. — Но завтра-послезавтра его будут отправлять этапом вместе с другими. Так он просил передать ему... денег. Рублей триста.

Как раз у меня денег не было. Несколько рублей не в счет.

— Погодите минутку. — Попросил я. — Я сейчас, — и оставил незнакомца в прихожей, а сам через черный ход метнулся к соседям, семье доктора Петра Григорьевича Ейвина.

Мне открыла его жена и я, волнуясь, тут же попросил у них триста рублей.

— Может быть, надо больше,— догадываясь в чем дело,— спросил Петр Григорьевич. «Можно, на всякий случай, пятьсот. Я сегодня же отдам», — сказал я. Петр Григорьевич тут же, махнув рукой, дескать, успеешь отдать, принес мне деньги из комнаты (наши черные ходы были на одной площадке и от них через кухни вели в комнаты). Я быстро вернулся к знакомцу. Он сказал, что работает в тюрьме и очень просил, чтоб его не подвести, никому не говорить о его визите. Он делает это из уважения к Борису Ильичу. Я предложил ему еще взять хотя бы белье. Он поморщился, пожал плечами, сказал, что это передать сложнее и ушел.

Когда стало еще темнее, я побежал к Адель Генриховне. Она жила в новом доме врача возле театра имени Ивана Франко (бывшего Соловцовского). Придя к ней, я сразу же рассказал о визите тюремного служащего. Она тоже взволновалась и сразу дала мне деньги отдать Петру Григорьевичу. Их той же ночью я отдал, а рано утром уже шел по

еще спящему городу к товарной станции за Лукьяновской тюрьмой, откуда должны были отправлять арестованных. Я ждал часов до двенадцати дня и, потеряв надежду, ушел. Так я дежурил еще три дня с зари. Один раз действительно отправляли какой-то этап. К путям подогнали теплушки. Всех, кто оказался поблизости, отгоняли. Мне все же удалось протиснуться в образовавшейся толпе так, что я оказался возле конвоиров и мог видеть всех арестованных. Их было человек двести, не больше. Но дяди среди них не было. Напрасно я пытался расспрашивать о нем у тех же конвойных. Один из них даже попытался меня задержать, когда я спрашивал другого и мне пришлось ретироваться в гущу толпы. Как я понял, с этой станции, вернее, с ее запасных путей дядю не отправляли. Может быть, думал я, его отправили с другой станции, с других путей. Никаких известий о нем не просачивалось, как и о других арестованных тогда. В школе я, конечно, эти дни пропустил и «бдительные» комсомольцы, косясь на меня, пытались выпытать, почему я пропустил уроки. Через полгода я уехал в Самару к дяде Арону. А в конце июня сорокового года (дядю Бориса освободили в конце августа тридцать девятого), приехав на каникулы в Киев, я с моими друзьями, Степаном, Виктором и Солей шли как-то вечером по саду возле университета и недалеко от памятника Шевченко я увидел его, того самого «тюремного служащего», чистенького, как тогда, в такой же летней рубашке. Я уже знал, что никаких денег дяде передано не было, не говоря о белье. Что даже попытки дать мне знать об отправке на этап не было и его никуда не этапировали. Держали полтора года под следствием и без суда выпустили, спасибо Берии, пришедшему на смену Ежову. Мне кажется, дядя даже заподозрил, что я обманул Адель Генриховну тогда ночью, что деньги понадобились мне и я таким «способом» решил добыть их. Он мне прямо не сказал, но я слишком хорошо знал его, чтобы не понять, что в нем жило такое подозрение, хотя Адель Генриховна мне поверила и говорила дяде, что этого не может быть, так как «на Рафе тогда лица не было, когда он прибежал ночью с известием о предстоящей отправке дяди и визите незнакомца».

Я узнал его. Он шел под руку с двумя женщинами, молодыми, одетыми в легкие платья. Я быстро сообщил друзьям о том, что это тот тип. Подошел к нему, попросил задержаться и дать мне прикурить. Уже было темно. Он не хотел останавливаться, но я сказал, что узнал его и хочу спросить. Он выпустил своих спутниц и отстал от них на несколько шагов.

— Вы передали Борису Ильичу Клейну в тюрьму пятьсот рублей (я назвал дату). Вы меня узнаете?

— Передал, конечно, — сказал он и попытался уйти вперед. Но тут мои друзья загородили ему дорогу. Мы не хотели требовать от него денег.

— Вы все еще работаете там? — спросил я.

— Да, — ответил он.

— Так как я вас узнал, вы не будете на нас жаловаться по известной причине. — И дал ему пощечину. Он не успел ничего сделать, так как друзья со всех сторон поддали ему хорошенько, разбив нос. После этого мы стремительно разбежались по саду. Мы были уверены: он не поднимет шума...

Вспомнил я и этого шантажиста. Все те годы по дням буквально отложились в моей памяти.

Тогда же вдруг дядя мне как-то сказал: «А к тебе гость», — и в дверь вошел, широко улыбаясь, Дуська в военной форме. Тот самый, убеждавший меня отречься от дяди, рьяный комсомолец... Я подчеркнуто холодно говорил с ним, напоминая, как он пытался «воздействовать» на меня в классе. Он немного замялся, но через секунду его лицо приняло «бдительное» выражение. В армии он был тогда помощником политрука. Забегая далеко вперед, скажу: когда мне лет через тринадцать сообщили, что он погиб на фронте, простите меня, я не пожалел этого, закончившего школу с золотой медалью многообещающего молодого человека...

11. ВРЕМЕННО В ИРКУТСКЕ

Но вернемся в иркутскую тюрьму, куда с такой радостью ринулись мы, каторжане, выстояв под мокрым снегом в лужах тюремного двора в наручниках, въедавшихся в кожу.

К счастью, «переход» по мне чуть не всего этапа, двухсот или трехсот людей, только примял меня немного, но, кроме синяков на теле ничего не оставил. Больнее была какая-то ничтожная царапина с этапа. Она не заживала на ноге месяца два или три. Вообще, на истощенном теле каждая царапина заживает долго и даже мучительно. Мои отекавшие ноги уже не умещались в «ЧТЗ» (Челябинский тракторный завод. — Ироническое название неуклюжей обуви). Несколько раз на прогулку выгоняли босого. Потом стали заставлять одевать ЧТЗ на босу ногу (с портянками никак не лезли).

Как раз перед нашим вселением в камеру из нее выволокли под руки какого-то старика, смертельно бледного, отекающего, полубесчувственного, и оттащили в больницу. Но, кажется, его не дотянули до тюремной больницы и он умер. Это был известный ученый; по его учебникам географии учились мы в школах, в том числе и я, (думаю, его фамилию восстановить не трудно). Говорили, что в камере он стал от голода злоупотреблять кипятком и, хотя знал, что это до добра не доведет, но уже не мог остановиться. Говорили, что иногда он пытался что-то рассказывать сокамерникам. Теперь, после его смерти, они вспоминали, что это было интересно. Но никому в голову не приходило вознаградить умирающего хотя бы лишней миской баланды, которую дежурные по камере без труда могли бы выклянчить для старика, а тем, кто еще имел возможность «за тряпки» получать хлебные добавки (были и такие) чуточку уделить ученому, ей-ей, с мировым именем. Затем, вспоминая рассказы, как над ним издевались, я написал:

болоту,	«Не журавль бродит по
выпрямляется,	Наклоняется,
выискивая,	Червячков и лягушек
доходяга,	А профессор, седой,
ходит	По тюремной камере
близорукие,	И, прищуря глаза
напряженно	В пол цементный глядит
косточки рыбной?	Нет ли крошки иль
смеются:	А блатные на нарах
интеллигенция,	«Ох ты, вшивая
достоинства.	Никакого не знаешь
украли,	Это мы твою пайку
тебя голодом,	Третий день мы морим
научишься...»	А ты все еще жить не

Увы, не только профессор... по учебникам которого учился весь Советский Союз, но и другие достойные люди не могли принять условия тюремного заключения и лагеря и гибли, тихо и нелепо.

В Иркутске я вдруг понял, что и мне грозит такая же дурацкая смерть, если не прекращу увлечения кипятком и куревом, за которое, нет-нет да и тоже, хоть редко отдавал кусочек хлеба из своего скудного рациона. В один какой-то день я бросил курить (и не курил почти три года, пока не

стал получать махорку в посылках от дяди Бориса) и отказался от такого соблазнительного средства утоления голода и жажды, как горячий кипяток. Чтобы меньше употреблять жидкость я даже стал отказываться от утренней порции чая, подслащенной рыжеватой теплой воды. Этот «чай» дежурный черпаком раздавал арестантам. Каждому по черпачку двести граммов или чуть меньше. Сперва за свой чай я получал от иных любителей сладкого докурить обжигающий губы окурок, потом, уже в центральном, договаривался на обмен: я отдаю месячные чаи свои за пайку, которую мне отдают в два или четыре приема, как договоримся.

В Иркутске было несколько камер с каторжниками. Но тюрьма была густо набита заключенными по бытовым статьям, особенно много было воров. Их держали отдельно от каторжников. Бытовики работали на кухне, в бане, в прожарке одежды и белья, даже на раздачах помогали дежурным энкаведистам. Последние с ними дружили — свои люди, советские,— и нередко через них блатные каторжники — их держали по одному-двум на камеру,— отбирая вещи у каторжан, сбывали их в вольнонаемным служащим тюрьмы, а те, в свою очередь, продавали их на воле...

Удивительно, но факт: не только до Иркутска, но даже до Александровского централа некоторые каторжане, особенно из тех, кто присоединился к этапам уже после Свердловска и Новосибирска, еще имели дефицитные вещи, вроде кожаных пальто, курток, приличных сапог, ботинок, другой верхней одежды, а то и белья. Все это шло за бесценок коридорным дежурным. Сбыт проводился неопытными каторжанами через блатарей, связанных с охранниками. Последние, соблазнившись какой-либо вещью, уже были у блатарей «на крючке», должны были давать им добавки баланды, доставать хлеб, курицу, а то и более ценные продукты. Ведь блатарь сам никогда не «заложит» (не предаст) охранника, а использует для этого фраера, которого сам же потом обвинит в стукачестве или еще в чем-нибудь. Насколько мне известно, пользуясь послаблением режима в Иркутской тюрьме, оттуда с настоящей пользой для себя сумели сбыть свои вещи только два-три человека. Оба сидели не «за немцев». Один — инженер Корсунский, умный и образованный человек, умевший внушать уважение, попал, кажется, за подделку продуктовых карточек или нечто подобное в крупном масштабе. Ему расстрел заменили двадцатью годами каторги. Другой, Кока Енкоян, армянин, как все армяне утверждавший, что является родичем народного комиссара Микояна, будучи художником, также попался на подделке карточек и получил то же, что и Корсунский. Оба они сумели из Иркутска написать родственникам, наладили связь с ними и те даже в самое тяжелое время приезжали, приносили передачи, посылали посылки, которые другие смогли получать только через два-три года, так как до того не имели права переписки с семьями и те даже не знали, где находятся их мужья, дети, братья, дедушки и бабушки...

Так как в Иркутске мы были временно, нам не полагалось даже книг из тюремной библиотеки.

Около двух месяцев мы провели в Иркутске. Думали-гадали, куда дальше повезут? Шли разговоры о разных лагерях, упоминали название «Тайшет». Но, вероятно, все, уже доведенные до Иркутска, были в таком состоянии, что не годились для тяжелого физического труда необходимого по приговорам.

12. МИШЕЛЬ

Когда меня и еще нескольких этапников втолкнули в большую камеру Иркутской тюрьмы, и мы стали размещаться на нарах, знакомясь друг с другом, один из «старожилов» камеры шепнул мне, что в этой камере царит Мишель и указал на верхние центральные нары (они в этой камере были расположены в виде двухъярусной буквы «П»). Так вот, на верхней «перекладине» этого «П» посередине сидел или лежал человек по имени Мишель, заправлявший всем в камере. Начальство распределяло бандитов по разным камерам. Обычно на каждую приходилось два-три бандита, один, самый «духовитый», а двое прихвостни, «шестерки», создававшие авторитет своему шефу, по

мелочам обворовывавшие каторжан этапников пятьдесят восьмой статьи и беспрекословно выполнявшие приказания своего повелителя. Он, как правило, не лез в мелкие грязные дела, предоставляя их своим помощникам.

Мое первое знакомство с Мишелем длилось недолго. Через час или два после того, как я переступил порог камеры и улегся на нарах, ко мне подсел верткий молодой парнишка с явно блатняцкой манерой и осведомился, откуда я, кто по профессии, откуда прибыл. Я вкратце ответил на нехитрые вопросы. Через полчаса тот же парнишка вновь подошел ко мне и пригласил познакомиться с Мишелем. Я забрался на центральные верхние нары к его величеству, который принял меня полулежа (у него болел живот и его тошнило: объелся баланды). Морщась от рези в животе и отчаянно ругаясь, Мишель спросил меня, кто я и откуда и за что попал. Я ему честно вкратце объяснил. Как ни странно, никто из тех, с кем я встречался в этапных путях, не осуждал меня за то, что я остался жив в немецком плену. Не осудил и Мишель. — Первый раз,— сказал он (у него был сильный еврейский акцент), — встречаю еврея, помогавшего гитлеровцам. Но я тебя понимаю: ты спасал свою жизнь. А эти (он кивнул в сторону нар, на которых разместились полицаи и старосты), они же помогали истреблять евреев. Вот за это я им все делаю... Гады. Продажники. (Он ругался все больше). У меня сейчас живот болит. А так вообще я уважаю артистов. Но послушаю в другой раз. (Пауза). Чем я могу тебе помочь? Хлебом не смогу, а баланда у тебя будет. (Мне осталось только поблагодарить Мишеля за такое обещание). Курево тоже будет — Продолжал он. — Я туг одного «обработал» и загнал лягавым кой-какие шмотки. С голоду не сдохнешь. Дай артисту курить.— Приказал он своей «шестерке».

Я вернулся к себе на нары с дымящейся сигаркой; оставил докурить соседям, почтительно поглядывавшим на меня, и вскоре заснул.

Долго ли я спал, не знаю, но разбудил меня отчаянный крик. В противоположном углу камеры «шестерочки» пытались отобрать какие-то вещи у одного из вновь прибывших каторжников. За того вступились соседи. Мишель поднялся и попробовал восстановить тишину. Гаркнул на всех. Все притихли. Его боялись. Но тут дверь открылась и вошли дежурные надзиратели.

Пострадавший стал им объяснять, как у него пытались отнять его вещи.

— Ну, это работа Мишеля. — Сразу заметил старший из надзирателей.

— А ну, Мишель, слезай с нар и ступай в карцер вместе с твоими помощниками.

Те стали что-то мямлить. Попытался возражать и Мишель. Но, видно, надзиратели его уже хорошо знали, а их старший явно не симпатизировал ему.

Так закончилось первое знакомство с этим человеком. Позже я узнал многое о Мишеле Козловском, «грозе» централа. Сирота, воспитанник детдома, он там немало перенес от антисемитизма. Его дразнили за его выговор, за то, что и некоторые воспитатели подтрунивали над ним. Ему в конце сорок четвертого года было около тридцати лет. Из них почти половина прошла в заключении. Он был совершенно неграмотный. Позже, в центральном лагере, в сорок восьмом или сорок седьмом, когда я уже получал посылки, я научил его писать и читать. Но при всей своей неграмотности, наделенный сообразительностью, всеми покинутый мальчишка, попав в воровскую шайку, вскоре сумел там завоевать определенный авторитет. Он умел ловко «провести операцию» и избежать расплаты. Позднее, как я понял, он стал действовать с небольшой, но крепкой группой сообщников. В начале сорок третьего года или в конце сорок второго, избежав призыва, он находился в Ташкенте, где проживал под фальшивыми документами. Неграмотный, он был исключительно находчив и одарен богатой фантазией. Переодетый в форму офицера НКВД, с соответствующими фальшивыми документами, он сделал не одну выгодную аферу. А попался на не до конца удавшейся попытке ограбления городского универмага. Видимо, это дело оказалось «мокрым» и «старший лейтенант», имевший не одну фамилию, получил «вышку».

К тому времени сумма определенных ему разными судами сроков

заклЮчения перевалила за двести лет. Он испытал все его «прелести» — ледяные карцеры, удушающие смирительные рубашки; объявлял голодовки, кончавшиеся унижительным насильственным питанием клизмами, и в этом сплошном ужасе научился неразборчиво, подчас жестоко и коварно утверждать свои понятия о гордости и достоинстве.

Думаю, о следующих свиданиях с Мишелем я еще успею рассказать. А сейчас только напомним: после того, как Мишеля забрали в карцер, некоторые однокамерники стали вспоминать, что он — жид и я тоже. В бытность Мишеля в камере эти люди, простите за выражение, лизали ему задницу, а после его ухода стали всячески поносить его. К сожалению, это черта не одних жителей тюрьмы. Сплошь и рядом, кого боятся, того превозносят, а чуть он уйдет со сцены, уедет или умрет, начинают «смело» критиковать отсутствующего. Камера, а затем лагерь являются маленькими копиями государства и его иерархии. Каждый лагерь имел свое лицо: в одной зоне главенствовали блатные и все жили по их законам, в другой зоне — суки и опять же весь лагерь жил по их указке, в третьей зоне верховодили ссученные каторжники и опять же весь лагерь подчинялся им и их правилам. Так и в тюремных камерах. В одних тон задают блатные, в других — суки, в третьих еще кто-нибудь. Редко в какой камере случалось подобие демократии, а если встречалось, то лишь до появления первого «духаря», суки или блатного, а нередко и бывшего полицая, перекрасившегося за время заключения в кого-либо из первых двух.

В Иркутске все чувствовали себя временными. Это была своеобразная пересылка для каторжан. Отсюда направляли некоторых в Тайшет или Якутию, а иных — инвалидов — держали до отправки в Александровский централ (тюрьма № 5 Иркутской области). Большинство добравшихся или, точнее, доставленных в Иркутск уже в этапах настолько отощали, что редко, кто из них мог годиться для физической работы. В это большинство входили каким-то чудом здоровенные бандиты, несколько человек, которые, будучи совершенно здоровыми, должны были находиться среди «политических», то есть нас, каторжан. Эти бандиты, правда, также были присуждены к каторжным работам. Возможно, их держали среди нас исключительно для «разнообразия», как бы противопоставляя нам этих могучих советских людей, чуравшихся слов «фашист» или «враг народа».

Особых инцидентов в камере не было. С утра канючили дежурные у надзирателей «горбушку», потом, в обед, лишнюю мисочку баланды. Изредка случались драки, обычно из-за горбушки утром. Горбушка по праву считалась наиболее калорийной, питательной и сытной. Действительно, пайка-горбушка уже одним своим видом привлекала симпатии и уважение. Безусловно, она была лучше пропечена и потому объемнее. Кроме того, высчитали, что на ней остается больше жировой смазки, которой должны смазывать то железо, на котором хлеб печется. Одним словом, горбушка была в чести и за нее не раз «воевали» заключенные.

Как-то в Иркутске же, дверь отворилась и в камеру толкнули каких-то двух или трех довольно крепких молодых людей. Один из них сразу же бойко вскочил на верхние нары и попытался устроиться, отшвырнув мое тряпье, на мое место у печки. Я его отшил, пахмурясь и сказав своим «поставленным голосом»: «Куда прешь?». Он отскочил и быстро нашел место чуть дальше. И тут вдруг за новичка вступились знавшие его раньше, по другим камерам или этапам, каторжане.

— Ты что?!— Возмутились они.— Не знаешь, кто это? (А между тем новичок, озираясь, устраивался со своим вещмешком поодаль). Да это же... «Кузнец»!

— Ну так что?

— Да ведь он же, мать твою так!.. Живо уступи ему место. Он же вроде Мишеля. Они недаром дружат.

Так как «общественное мнение» оказалось явно на стороне новичка, мне пришлось уступить ему место и перейти на другие нары. Он преспокойно разлегся у печки. Соседи робким шепотком доложили мне, что я оскорбил «такую персону», которая брошена сюда для наведения порядка (страха) в камере. Вероятно, Мишеля после карцера бросили в одну камеру, а «Кузнеца», сидевшего за зверское убийство, тоже после

карцера перевели к нам. Так осуществлялось «движение» и «перемещения» в тюрьмах.

Не скажу, чтобы здесь «Кузнец» себе что-либо позволял. После раздачи надзиратель заглядывал в кормушку и отыскав глазами «Кузнеца», уже оказывавшегося на виду у надзирателя, подавал ему лишнюю миску самой густой баланды или даже кусок хлеба, «от Мишеля». «Кузнец» и надзиратель о чем-то быстро пошептывались, кормушка закрывалась, а «Кузнец» обычно разжившись и табачком от тюремщика, вновь устраивался на нарах.

Когда случались драки, кто-либо становился спиной к дверному глазку заслоняя от надзирателей, а остальные с интересом наблюдали как лупят друг друга или избивают одного кого-то жители камеры.

Здесь меня избили, кажется, всего один раз. Даже не избили, а просто едва не убили. Как-то утром мне досталась совершенно развалившаяся пайка, явно составленная из крошева. В ней было не больше трехсот граммов. Я бросился к кормушке, пока не кончилась раздача, чтобы попросить у надзирателя заменить пайку, либо добавить к ней недостающий кусок. В это время дежурные как раз кончили получение хлеба и оттащили стол от кормушки. Один блатной, Стр... (помню его фамилию, но он до того противен, что не хочу, чтобы такая мразь попадала в историю, протянул руку к еще открытой кормушке, схватил поданный ему надзирателем кусок, предназначавшийся мне, резко оттолкнул меня, а чуть кормушка захлопнулась, ухитрился сзади (я еще стоял у кормушки) рвануть меня так, что я упал головой на цементный пол и на несколько мгновений потерял сознание. Интересно, что этот блатной, сидевший по статье 59 часть третья (вооруженный грабеж), через десять лет в воркутинском лагере двадцать пятой шахты, куда его перевели с другого лагпункта, ласково подошел ко мне и просил помочь ему устроиться «на работу полегче». На двадцать пятой меня взяли в библиотеку и там я пользовался любовью каторжан, которых часто увлекал и своими рассказами и выступлениями на самодеятельной сцене (таковая там уже была). Чтобы удовлетворить законное любопытство скажу, что я, конечно, не стал хлопотать за отъявленного бандюгу ни перед бригадирами, которых знал, ни перед десятниками.

Часть вторая

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ЦЕНТРАЛ

13. ИСТОРИЧЕСКАЯ ТЮРЬМА

Справка: АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ЦЕНТРАЛ—одна из наиболее страшных каторжных тюрем. В царской России центральная каторжная тюрьма в селе Александровском, близ Иркутска. С 1873 года уголовная, с 1889 — пересыльная, с 1903 — политическая. В 1918—19 белогвардейский концлагерь. (Советский энциклопедический словарь. 1981). Одна из старейших сибирских тюрем. Печальной известностью пользовалась уже в начале XIX века. Среди ее арестантов был также Н. Г. Чернышевский с 1867 по 1871 гг.

В Иркутске нас продержали месяца два с лишним. Только 17 января тысяча девятьсот сорок пятого года (кажется, правильно запомнил) нас вызвали в коридор, хорошенько ошмонали (обыскали); затем по спискам и по делам стали, вызывая, выводить во двор, где снова, уже приехавший за нами конвой пересчитал всех и сделал перекличку. Нам приказали влезть в грузовики. Встать и сесть на том месте, на котором стояли. Кроме нас в грузовики уселся конвой. Сзади сидели, оттеснив нас, вооруженные автоматами конвоиры (я вспомнил, что на фронте далеко не у всех пехотинцев были автоматы, а здесь ими сумели вооружить охранников).

Машины тронулись. Вечерело. Поэтому запомнить где мы ехали

трудно. Помню: сперва проехали какой-то мост, затем за городом стали «нырять» по сопкам. Дорога вела через густой еловый лес. Было очень холодно и я не обморозил ноги только потому, что они оказались под чьей-то шинелью. В свою очередь и я сидел на чьих-то ногах. Ноги затекали. Но пошевелить ими не представлялось возможным. Ехали так часа два с половиной или два.

Но вот грузовики спустились с очередной горюшки и въехали во двор, обнесенный со всех сторон каменной оградой. Мне она показалась не очень высокой, хотя в старинной песне говорилось:

«Далеко в стране иркутской
Между двух высоких скал,
Обнесен стеной высокой
Александровский централ».

Это был он. Не сразу удалось заметить, что поверх стен в несколько рядов протянута колючая проволока, а по углам двора вышки с дежурными автоматчиками.

Нас стали вызывать, выгрузив из машины, и распределять по разным камерам. Я очутился в камере номер восемнадцать на первом этаже. Единственное окно камеры выходило во внутренний двор тюрьмы, где находились прогулочные дворики. Чтобы не выглядывать из окна, на нем снаружи был пристроен огромный «козырек» или «намордник». В камере был адский холод, с решеток, загораживающих окно, свешивались огромные ледяные соски, загораживавшие и без того тусклый свет. Нары были в два яруса. Когда после всех положенных процедур — проверки по делам, шмона и медосмотра — нас оставили в покое, мы стали дружно топтаться в проходе между нарами, пытаясь согреться. Постепенно камера согревалась нашим дыханием, теплом наших тел и отчасти печкой.

«Тут хрен съешь, два выкакаешь». — Эти крылатые слова Мишеля, который прибыл тем же этапом, характеризовали обстановку. О ней позднее я писал вспоминая эту восемнадцатую камеру, одну из самых страшных в центре:

Свет сквозь решетки не пройдет:
Их облепил сисястый лед;
Взбухает, по стене ползет,
Здесь зябнут круглый год.
Здесь в тесноте на нарах голых
Царят клопы и дикий голод,
И лишь одно желанье есть:
«Е-е-сть!..»
Здесь все понятия поправ.
Живут без жизни и без прав
Кощеи, загнанные в хлев,
И в мыслях только — «хле-еб,

хлеб»

Поутру — пайка с кипятком.
Всю целиком — одним глотком.
Нет крошек, вылизан весь пол.
Я молод, но забыл свой пол:
Что ночь, то снится каравай;
Не женщину, а хлеб давай.
Кому, к чему, зачем она?
Жена скелету не нужна.
Хоть виноват, не виноват,
Сиди. Вдыхай параши смрад.
Мычишь? Молчи! Ты — скот, ты

гад.

Бред???
Нет!!!

Увы, это не бред. Это все было, было и сам не могу понять, как сумел

это все пройти, пережить? Только молодость, уже закаленная ужасами и неустроенностью войны, могла перенести нечто подобное.

14. КУРБАН

Вспоминаю, что, кажется, из Екатеринбургa с нами этапировали много калмыков и, насколько помню и понимаю, почти никто из них не мог никак разобраться, за что на них и на их семьи легла такая немилость. Никто из них не служил у немцев в полиции или, не дай Бог, в самом вермахте, о предательстве они не помышляли, а вот же выселили да еще понадавали сроков, от десяти до двадцати лет. В Иркутск с нами привезли также несколько калмыков и жителей Средней Азии. У последних была статья «за шпионаж». Выражался он в том, что они или пасли скот за границей Советского Союза, или имели там родственников и время от времени их навещали. Правда, среди молодых таджиков или узбеков попадались и каторжане по статье 59 пункт 3 (вооруженный бандитизм). А вот одного «шпиона» я запомнил, благо затем был вместе с ним, путешествуя по одним и тем же камерам Александровского централа, около двух или трех лет. Вероятно, его уже нет в живых, но пусть память о нем хоть немного тронет сердца других. Курбан Манеби 1909 года рождения, таджик, правоверный мусульманин, неграмотный, был осужден за шпионаж. Курбан начал очень туго овладевать русским только в тюрьме. Как же он получил свои двадцать лет каторги? Будучи пастухом, он пас спокойно свое или (уж не помню) колхозное стадо на горах недалеко от афганской границы. Там была хорошая трава и пастух и овцы были довольны. Случилось, что пара овец зашла, отбившись от отары, довольно далеко. Курбан пошел за пропавшими, отыскал их, а когда возвращался, его задержали наши пограничники. Курбана препроводили к оперуполномоченному, офицеру госбезопасности. Курбан даже не мог с ним объясниться. Через короткое время, которое ничего не понимавший Курбан провел в так называемом следственном изоляторе в камере-одиночке, его вызвали. Без переводчика он объясняться со следователем не мог. Тот показал Курбану, где ставить знак вместо подписи. Курбан послушно поставил знаки везде, где его вежливо просил следователь. Затем Курбану военный трибунал дал расстрел, правда, заменив его через полтора месяца или месяца двадцатью годами каторжных работ.

Коренастый, ширококостный, чуть выше среднего роста, с задумчивым и каким-то по-особому умиротворенным лицом он, молча, ходил по камере, как-то по-особому слегка сгибая колени и широко расставляя ноги, вероятно привыкшие к совсем другой почве, чем тюремный пол.

Несколько раз в день Курбан становился на молитву; утром делал намаз символически, как и в другие разы. Был добр и справедлив. Даже тогда, когда чуть не вся камера возмущалась «поведением жида» (было и такое), он не изменял своего ровного благожелательного отношения, пытался по-своему урезонивать других, проявляя явную симпатию ко мне. Так было, например, в восемнадцатой камере в Александровском централе.

Не подумайте, что я перескочил, благодаря Курбану, сразу в Александровский централ, минуя Иркутск. Я еще к нему вернусь. Там было не лучше.

Итак, в этой восемнадцатой камере как-то возник спор... на географическую тему. Обычно спорили только о калорийности горбушки или середки, хлеба или еще какого-либо рода пищи. А тут вдруг коснулись действительно разумных материй. Речь шла о климате и я счел нужным объяснить сидящим по пятьдесят восьмой политической статье сокамерникам, что на земле есть не только восточное и западное полушария, но также южное и северное и мы живем в северном. Боже мой, что тут началось?!

— Чего ты нам, жидовская морда, мать твою так, мозги дуришь?!— заорал кто-то из бывших полицаев или старост.— Может, еще скажешь, що наша Украина тоже в северном полушарии?!

— Да. — Спокойно ответил я и попытался кое-что объяснить насчет экватора.

Мои попытки потонули в гуде возмущения. А так как я упорно настаивал на своей правоте, то вынужден был пострадать за науку: меня избили, поражаясь моему упрямству: я утверждал, что мы живем в северном полушарии. Причем, оно отличается климатически от южного, резче, резче, чем восточное от западного.

И вот после этого избиения Курбан, никак не понимавший, почему люди так взъярились, попытался утихомирить «политиков» и успокаивал меня. Когда нас перевели после сорок пятого года на слабосилку: стали давать по пятьсот граммов хлеба в день (иначе шла насмарку каторга: люди умирали, как мухи), Курбан на проверке откликнулся спокойным голосом:

— Курбан Манебий, девятсот дэвят дэвят год, двадцать лет.

Когда же, посчитав, что мы уже подправились на этом «усиленном питании», камеру снова перевели на четыреста пятьдесятграммовую пайку, Курбан уже другим голосом на проверке отвечал так:

— Курбан Манебий. Девятсот дэвят дэвят год. (Не помню уж как звучала статья). Двадцать лэт». — И опустив голову, тихо добавлял: «Собаки»...

К нему как-то присоединился другой таджик или узбек, Бабаев; лег на нарах рядом с Курбаном и последний стал его обучать вере.

Эта учеба длилась до тех пор, пока Курбан не заметил, что Бабай постоянно пытается отщипнуть себе хлеб от пайки Курбана. Становятся оба на колени, молясь поутру. Рядом с каждым лежит его, только что полученная пайка. И вот, когда Курбан, истово молясь, наклоняется к самым нарам, Бабай отщипывает от его пайки и кладет себе в рот. Первый раз Курбан простил молодого бандюгу, но затем указал ему — уходи прочь. Бабай не оправдал доверия Манеби, вздумавшего сделать себе единовеца из земляка, но негодяя.

В самое голодное время, когда в нашей баланде плавало несколько микроскопических крошек единственно твердой пищи — американской мясной тушенки, Курбан вылавливал все кусочки свинины и отдавал кому-либо из соседей, не требуя ничего взамен: он соблюдал свою веру. Не помню, чтобы он позволил себе выругаться, кроме вышеупомянутого определения «Собаки». Когда я, избитый ни за что ни про что, вползал на нары недалеко от него, Курбан пододвигался ко мне и на своем невероятном подобии обрывков из русской речи, шептал: «Ты, ты, ты... ничего... больше не будет...» — И поглаживал натруженной шершавой рукой мою голову.

— У-ух, два нехристя сошлись.— Раздавалось сбоку. Но Курбана никто не трогал. Даже в этих черствых умах жило какое-то невольное уважение к верующему. Я видел немало крестившихся, шептавших молитвы. Но скажу откровенно: хотя верующие, как правило, были добрее и выдержаннее других, но по-настоящему верующий, которому можно было верить был один — Курбан Манебий, тысяча девятьсот девятого года рождения, неграмотный пастух, таджик-мусульманин, анекдотически осужденный за шпионаж, которого в помине не было и быть не могло. Когда я думаю о Курбане, его ровном уважительном отношении ко всем людям любой национальности (а в каждой камере был настоящий «интернационал»), я полагаю, что и его религия не несла в себе ничего жестокого, античеловеческого.

15. ТИХАЯ ПОДЫХАЛОВКА

Мы — не первые жители централа. До нас, несколькими месяцами раньше его стали заселять каторжниками из Иркутска. Предыдущий этап был где-то в ноябре-декабре. Наш почему-то задержался. Возможно, лютые морозы не позволили доставить раньше (доставили бы только смерзшиеся трупы...). Не знаю.

Тюрьма, как и все предыдущие, показалась сперва «глухой». Но через день-другой мы уже научились различать все звуки, «читать» их.

Полы в камерах были деревянные, дощатые, и их надо было мыть до блеска. Кипяток приносили в огромных деревянных кадках. Ставили у дверей (носили зэки). Надзиратель после ухода эков (с ними запрещалось какое-либо общение) отворял дверь. Наши дежурные по камере хватали кадку и заносили внутрь. Каждому выдали деревянную

ложку. Глиняные миски для кипятка и супа всегда находились в коридоре, у надзирателей. Миски выдавали по утрам, к кипятку, а потом — к обеду и ужину, состоявшим из баланды. Утром давали также «чай», поило, от которого я практически отказался, о чем писал ранее.

В каждой камере устанавливался свой порядок: кому когда дежурить, с какой стороны, с нижних или верхних пар, от окна или от дверей разносить сегодня хлеб и баланду. Дежурили тоже по порядку, четверками, хотя эта камера была маленькая.

Вскоре мы узнали, что в нашем же коридоре (всего в тюрьме было два этажа) находится камера или две с женщинами-каторжанками. Об этом мы могли судить по голосам, выводимых на прогулку женщин. Им, как и нам, запрещалось говорить при выходе. Но и они и мы ухитрялись хоть что-то сказать, перешепнуться так, что припадавшие ухом к дверям соседних камер могли слышать. Кроме того, на прогулке, несмотря на запреты и замазывание, по крашеным дощатым стенам заборов, отгораживавших прогулочные дворы друг от друга, можно было разобрать нацарапанные кусочком известняка или даже грифелем надписи.

Прогулочные дворики имели площадь метров десять-двенадцать. Они сходились радиально к вышке в центре, на которой стояли бесшумно два часовых, зорко следивших, чтобы гулявшие не останавливались, не подходили слишком близко ни к дверям из этого ограждения, ни к вышке, где наверху стояли часовые, не приближались к стенам, чтобы все время руки у гулявших были за спиной.

Первую зиму я не мог ходить на прогулки и, как еще некоторые, оставался в камере. Нечего было надеть да и сил не хватало...

Беспокоили нас мало. По утрам и вечерам мы обязаны были соскакивать с нар на поверки. Когда входил дежурный надзиратель — приветствовали его хором. То же проделывалось при посещении камеры каким-либо начальством, начиная с главврача (будь проклято ее имя) и начальника по режиму, старшины по прозвищу «Чалый». Последний был страшнее всех. На его счету (не на совести, совести у такого быть не могло) немало безвинно загубленных жизней. Приведу лишь один пример.

В нашей камере был один бывший моряк, мой сверстник, отличный парень. Тяжело раненный, он попал в плен. Оттуда бежал, выздоровев. Но наша «бдительная» контрразведка схватила его. Буду называть его «Моряк». У него был один глаз, второй выбит пулей на фронте. Парень, несмотря на истощение, не терял присутствия духа, не ныл. Очень любил он, когда я рассказывал всей камере какой-либо роман или читал наизусть стихи. Он любил искусство. Лежа на нарах неподалеку от меня, он придвигался и просил рассказывать ему о театре, о артистах и ролях.

Как-то когда он дежурил, в камеру вдруг вошел Чалый.

— Внимание! — как положено, возгласил дежурный. Все повскакали с нар, выстроились. Замерли.

Чалый всегда ходил в сопровождении корпусного и дежурных надзирателей. Чалый был в чине старшины. Но надувался минимум на полковничий чин.

— Кто сегодня дежурит, заключенные? — Возгласил Чалый, глядя в потолок.

— Я. — Отозвался морячок, дежуривший в этот день.

— Почему пол грязный? — Гаркнул Чалый, продолжая смотреть в потолок, даже не пытаясь глянуть себе под ноги, где, как чистенькое яичко, желтел выскребанный и вымытый дежурными пол (не думаю, чтобы у «господ» охранявших каторжан, в домах была подобная чистота).

— Гражданин начальник. — Начал Морячок. — Где вы видите грязь?

— Это что за пререкания! — Также высокомерно, в нос, презрительно кинул Чалый. — Десять суток карцера.

— За что?!!

Спустя несколько минут Морячка увели в карцер. Парень вернулся через десять дней. Харкал кровью. Через день-другой его пришлось взять в больницу, где он еще через несколько дней умер.

Боже, если ты есть! Найди среди душ, пришедших к тебе, этого изверга Чалого, укрывшегося от фронта в глубоком тылу садиста, и накажи его,

вечными муками, ибо никакой Иуда не сравнится с этой холодной жестокостью бездушного негодяя. Нет такому прощенья.

В эту же восемнадцатую камеру как-то бросили богатырского сложения румяного мужчину в отличном кожаном пальто, видимо, недавно с «воли».

Он пробыл с нами несколько дней. Через «Кузнеца» ухитрился выменять кожаное пальто, как сейчас помню, рыжего цвета, импортное, какому-то надзирателю. По какой статье он попал не помню. Не уверен, что по нашей пятьдесят восьмой, но и не за грабеж. Только через неделю он стал требовать врача. Мы думали: «косит», чтобы попасть в больницу или на слабосилку. К нашему удивлению пришла молодая симпатичная врач, еврейка, внимательно осмотрела богатыря и приказала немедленно уложить его в больницу. Мы все решили, что он просто понравился врачихе, благо выглядел таким ладным и румяным. Но вскоре мы узнали, что через две недели он умер от скоротечной чахотки.

После увода Моряка я больше всего сблизился с Леонидом Швецом, жителем Хабаровска или Владивостока, бывшим вором-рецидивистом, что ли. Он, кажется, практиковал по «карманной части», но где-то попался на чем-то, что обеспечило ему пятнадцать лет каторги. Леонид был старше меня лет на семь. Это был крупный, очень спокойный, я бы сказал, безразличный ко всему человек. Ко мне его привлекло любопытство. Он живо интересовался жизнью Москвы, Ленинграда, Киева, их достопримечательностями, театрами, образом жизни молодежи. У него был своеобразный, даже философского склада ум. Он отлично понимал все происходящее, не строил иллюзий насчет каких-либо «амнистий», «досрочных освобождений», «замен фронтом»... Леонид голодал, как все, стоически сносил голод, даже не пытаясь дежурить в надежде на получение лишней миски баланды в добавку. У нас в камере двое были «освобождены» от дежурства, Леонид и «Кузнец». Но, если последний нет-нет да науськивал какого-нибудь молодого бывшего полиция украсть пайку, обещая «прикрытие», то Леонид ни в какие грязные дела не вмешивался. Он был любознателен, но молчалив. Правда, мне он многое рассказал о тюремных и лагерных законах, о законах воровского мира и, как когда-то Бруно в Кирове, предостерег от блатных и сук, благо сам был вором-одиночкой. Его присутствие в камере никак не ощущалось. Он никому не мешал и никого не подбадривал. Мне он напоминал большого тюленя, в меру ленивого, безразличного, но знающего всему цену.

Иногда Леонид просил меня рассказывать ему «историю». Я рассказывал о Юлии Цезаре, Александре Македонском, о Наполеоне, его маршалах, о русских полководцах и царях. Он жадно слушал. Это его интересовало. Иногда он задавал неожиданные вопросы, обычно касавшихся мотивировки поступков или действий тех или других исторических личностей и не уверен, что всегда мог достаточно убедительно ответить. Мне он был близок потому, что не в пример иным в камере, не пытался смеяться над моим еврейским происхождением. А ведь именно в этой камере меня жестоко избили за то, что я сказал, что у Земли два полушария, северное и южное, о чем рассказывал уже раньше.

Клопов в восемнадцатой было, пожалуй, еще больше, чем в других камерах. Раз в декаду, когда нас выгоняли в баню, после чего всегда тщательно обыскивали, в камере «шпарили клопов». Давали две или три кадки кипятка и мы ошпаривали нары, верхние и нижние. Потом драили и ополаскивали кипятком пол. Однако, несмотря на тщательность ошпаривания, проклятые клопы через день-другой снова с прежней свирепостью кусали и высасывали последнюю кровь из нас. Ночами мне часто не спалось и я давил клопов, давил на стене, на себе, под собой. Давил сотнями. Но их были миллионы. К утру, чтобы не попасть в карцер, я кое-как замазывал, соскребал на стене кровавые пятнышки от раздавленных тварей. Вот он ползет по моей руке. Поднимает зад. Собирается ужалить. И тут я его, гада, прихлопываю. Сытые сволочи. Насасываются крови вдоволь. Их не смущает горящий в камере и ночью свет. Просто — становится тише и они выползают. Они, правда, и днем

нет-нет да кусают — и даже нередко.

В этой же камере Курбан Манеби. Это он здесь, в страшной голодухе, все не может изменить своей верой и из баланды вылавливает редкие кусочки свиной тушенки. Ему ведь такое нельзя и он отдает благодарному соседу. Последний дорожит местом возле мусульманина: иногда что-то перепадает... Книг нет. Вся жизнь вертится вокруг пайки или онанистических разговоров о еде, сале, хлебе, борще. По ночам мне снятся побеги из плена, я всегда окружен знакомыми и незнакомыми немцами и среди военной кутерьмы постоянно вклиниваются картины еды, хлеба, горбушки или серединки.

В центре хлеб подовой. Редко, когда кирпичик. Обычно, повторяю, подовой круглый. Буханка делится на несколько частей. Каждая из них имеет свое название и ценность. Самая ценная, конечно, горбушка. Но, так как, вероятно, буханки солидных размеров, то из одной выходят две горбушки, два «копыта», вырезанные из того что остается между горбушками, это уже не такая ценная часть и, самая досадная часть — центральная, тумба. В последней меньше всего калорий, считают, а по объему она куда меньше и копыта и, безусловно, горбушки. Если два дня подряд тебе попадется тумба, ты — великий неудачник. А вообще, когда попадает тумба, это портит любому настроение на целый день.

Хлеб получают утром. К кормушке дежурные придвигают стол и надзиратель из коридора подает, считая, пайки. Тут не миски с баландой, обмануть невозможно: к каждой камере он подставляет точно то количество паек, какое соответствует числу заключенных, а баланду он черпает из одного огромного бака. Из него же раздает ее и другой камере. Тут возможны варианты... Выпросить, а то и закосить (обсчитать надзирателя на две-три миски). У последнего все равно баланды хватит. Не хватит — разбавит кипятком.

Утро. Вся камера в напряжении. На верхних нарах и на нижних все приподнимаются: каждый знает свою очередь и считает — что ему сегодня «обломится».

16. ОДИННАДЦАТАЯ ЗАПОВЕДЬ

Смахивать дежурному, принимающему из кормушки пайки, невозможно: он постоянно под бдительным оком всего населения камеры. Когда пайки выстраиваются на длинном столе (таковой есть в каждой камере), дежурные опять же под взглядами всех каторжан раздают хлеб. Каждый получает на своем месте. В камере на нарах места, как квартиры, закреплены за каждым. Бывает, конечно, что меняются местами. Это никому не запрещено. Но обычно месяцами лежат там, где легли, когда их втолкнули в данную камеру.

Население центра делится условно на три категории, по способу поедания хлебной пайки. Первая — живоглоты. Они съедают пайку сразу при получении утром. Всю. Набив брюхо, до самой прогулки, она обычно часа через два, не раньше, лежат на нарах и спят. К прогулке просыпаются, после нее вся камера кружит вокруг стола в жадном ожидании обеденной баланды. Последняя утолить голод не способна. Живоглоты голодают до следующего утра. А пока с ненавистью и завистью поглядывают на лиц второй и третьей категории. Вторая категория — резинщики. Эти никогда не наедаются, но, в какой-то мере, тоже себя обманывают понятием сытости. Резинщики делят хлебную пайку на две три части. Одну съедают утром с кипятком или «чаем», вторую — в обед, с баландой. Некоторые ухитряются делить пайку даже на три части и съедают оставшийся кусочек уже с вечерней баландой. Я пытался делить хлеб на две части, был резинщиком. Но на три не осмеливался: слишком мизерные порции получаются. Стал живоглотом. Третья категория, я к ней впоследствии принадлежал относительно долго, фаршмачники. Эти утром вообще не прикасаются к хлебу, а всю пайку берегут к обеду. Тогда ее крошат в баланду, смешивают с ней и получившуюся «кашу» съедают тоже сразу, но уже в обед. Каждый старается обмануть свой желудок по-своему.

Между этими тремя категориями существует негласная, но порой осязаемая вражда. Блатные всегда живоглоты и с ненавистью и презрением смотрят на представителей остальных категорий. Голодны

«Кузнец» или Мишель, или еще кто не меньше других. Но считают ниже своего достоинства фантазировать с питанием. Однако, когда наступает пора обеда и резинщики и фаршмачники, облизываясь, раскладывают перед собой на платочках (читай—тряпочках), сбереженные с утра кусочки хлеба, живоглоты явно нервничают. Отпускают остроты, ругаются, всячески выражают свое презрение к резинщикам и фаршмачникам, «перевозящим продукты». По опыту знаю, как трудно голодному додержать нетронутую пайку до обеда. Во-первых, ее надо бдительно хранить, не расставаться с ней, держать все время при себе, на груди или в приспособленном кармане. На нарах оставлять нельзя: стащат и, поделившись с «Кузнецом» или другим царем камеры, обеспечат себе прикрытие. И, если пострадавший вздумает звать о помощи он еще и получит под бока. Дежурные надзиратели все равно в это дело не вмешиваются. Так что свято помни одиннадцатую заповедь: не зевай. Отвернуться даже на секунду после получения пайки бывает опасно. Конечно, все зависит от твоего соседа. Рядом с Курбаном можешь даже пойти погулять по камере, а его попроси присмотреть за пайкой. Он не подведет. Есть и другие честные. Но юркая молодежь... А такие из числа бывших полицаев тоже есть в каждой камере и пытаются вписаться в блатные, пребывая у них в «шестерках», так и рыщут глазами — где, что плохо лежит.

Как-то я спустился с нар, получив пайку, чтобы черпнуть немного кипятку из кадки. Вернулся на нары — пайки нет. Я — туда, сюда, «Братцы, что ж это?! Отдайте пайку, хоть половинку!». Гробовое молчание всей камеры. Не веря своим глазам, шарю по нарам, переворачиваю свое тряпье. Напрасно. До следующего утра обеспечен голод. О настроении говорить не приходится. Пытаешься понять: кто украл. Не поймешь. Все сидят, жуют свои пайки. Иные вздыхают сочувственно, иные улыбаются. Но никто не укажет на негодяя. Каждому дороже всего собственный покой. И вот в отчаянии садишься за стол после этого несчастного «утреннего завтрака» и забиваешь козла, играешь в домино до одурения, до обеда, а потом и после него. Домино — единственное «культурное развлечение» в тюрьме. Шахмат или шашек нет. Книг нет. Говорят, сперва были книги — «Деяния Петра Великого», «Великое посольство» (про путешествие Спафария при царе Алексее Михайловиче в Забайкалье) и книжка о разведении картофеля в Иркутской области. Думаю, первая из названных была антикварной. Уже в другой камере я держал в руках ее остатки. Все книги шли на курево. Иногда блатным или даже фраерам, нам, удавалось выклянчить у какого-нибудь надзирателя или поднять ловко с полу при выходе на прогулку ошнарник (окурки) и его делили на нескольких. В восемнадцатой камере, по-моему, стукачей не было или их еще не успели завести, а потому махорка ниоткуда не попадала (стукачам оперуполномоченный выдавал время от времени пачку махорки, — весьма скромная плата за иудино ремесло. Кроме того, иногда им вдруг приходили «переводы» на 60 рублей (все одинаковые). По этим приметам мы и узнавали стукачей. Хотя, чтобы их замаскировать, оперуполномоченные вызывали из камеры сразу человек пять-семь. Догадайся: кто из них стукнул? Короче, порой в камерах немного курева водилось. Как-то, помню, Мишель ухитрился передать «Кузнецу». Но последний, хотя и оставлял докурить иным, не спекулировал. А стукачи, получив от «кума» (оперуполномоченного) пачку махорки, тут же начинали торговать ею. За половинку спичечного коробка махорки брали с любителей курева целую пайку. Любители складывались по двое, по трое и покупали целую спичечную коробку, но не «с верхом», а приглаженную. Из нее можно было накрутить три-четыре тощих цыгарки. Очень тощих. Клянчить у тех, кто отдавал хлеб за курево, было бесполезно. И я просто бросил курить до лучших времен...

Восемнадцатая камера была сырая, холодная. По стенам рядом с кое-как зачищенными следами от раздавленных клопов, зеленела плесень. У окна, там на нарах никто не спал, на метр были лед и страшная холодная сырость. А нары и пол блистали чистотой: никто из дежурных не хотел попадать в карцер. Мы лежали днями на своем тряпье. Вся одежда от путей и прожарок превратилась в лохмотья. Их кое-как каждый пытался зашить самодельной иголкой (если ее найдут —

карцер) и самодельными нитками. Нитки делали из тряпья: «сукали» их. Я тоже наловчился и из кусочков ткани, ниток, вырванных из остатков бушлата или рубахи, мог «ссукать» крепкую веревку любой толщины, не говоря уж о прочной нитке.

17. ЗИНАИДА БОРИСОВНА

Если вдруг чудом кто-то добывал курево и требовалось разжечь цыгарку, кто-нибудь вырывал из подкладки бушлата или фуфайки клочок ваты, сворачивал ее в несколько слоев в виде этакой маленькой сигары; потом или снимал ботинок, если у кого подошва была не сырая, или, если попадалась сухая дощечка, клал ватную сигару на пол, становился на корточки или на колени и быстро начинал возить ботинком по сигаре. Через несколько секунд «сигара» начинала дымить. Стоило дунуть на нее — и она загоралась. Можно было прикуривать. Этому нехитрому ремеслу добывания огня, как и «сукания» ниток, я тоже быстро научился.

Некоторые каторжане иногда «философствовали»: вот, мол, какие мы хорошие: терпим среди нас жида, а жида, знаете, какие они. И начинались всякие вымыслы. Я их не выносил и всегда пытался пересечь, указывая что евреи такие же люди, как все, есть среди них и хорошие и плохие, есть и смелые и трусы и так далее. Конечно, не все участвовали в этой травле, точнее, в этом подтрунивании. Правда, когда один бывший полицай слишком нагло начал издевательскую кампанию, я дал ему благородно пощечину. Увы, несмотря на то, что я, сцепившись с ним, оказался сильнее, я был избит: несколько человек бросились на выручку «своего» и не удовлетворились до тех пор, пока мне не разбили губы и кровь не хлынула из носа. Курбан, не принимавший никакого участия в потасовке, вдруг слез с нар и, не умея по-русски ничего толком сказать, стал оттаскивать навалившихся на меня.

— Эх, попался бы ты мне там... — Говорили не раз мои сокамерники. — Я б тебя, жида, сразу узнал, ты бы от меня не ушел.

— Были там и не такие прозорливые, как ты. — Отвечал я. — Стояли передо мной на вытяжку, по команде «смирно». А подкопаться никак не сумели.

Как-то, не помню уж почему, завязалась драка у меня с самим «Кузнецом». Мы схватились у окна и повалились на обледенелые, никем не занятые нижние нары. Дрались молча, били друг друга в бока, хватая за горло, брыкаясь ногами, готовые убить друг друга. Не помню уже из-за какой мелочи началась драка. Естественно, напротив глазка, чтобы коридорный надзиратель не заметил, кто-то встал. Мы сцепились в один клубок и я оказался наверху. Но тут сзади кто-то из бывших полицаев, по-моему, один молодой, Титаренко, начал мне заламывать ноги за нары, подойдя сзади. «Кузнец» вывернулся и жестоко избил меня. Вся камера считала это чем-то вполне нормальным. Я лег на нары, а «Кузнец» победоносно расхаживал по камере в сопровождении прихвостня, обеспечившего ему победу.

Увы, и на этого мелкого негодяя нашлась управа, самая неожиданная. Как-то утром он при получении пайки зазевался на несколько секунд и пайка, подобно моей, бесследно исчезла. Титаренко стал орать, пытаясь найти хлеб, бросился к волчку, кормушке, и забарабанил в дверь, вызывая надзирателя. Но тут сзади к нему подскочил «Кузнец» отбросил его от двери, избил и во всеуслышание сказал: «Гадина. А когда ты украл у жида пайку, хорошо было? Но жид не пошел к волчку. Так уж молчи, падло». После этого мне сказали, что украв у меня тогда пайку, Титаренко рабски поднес ее «Кузнецу», отломившему себе половину.

Иногда в камеру заходила врач-еврейка. Ее сразу же осаждали вопросами. Она была очень красивая, черная, с большими, проникающими взглядом в душу глазами. Звали ее, как узнал позже, Зинаида Борисовна.

Как-то она обратила внимание при осмотре на мой истощенный вид. Вскоре меня вызвали в кабинет врача, находившийся на втором этаже. Когда меня привели туда, Зинаида Борисовна приписала мне переливание крови (у меня были фурункулы и надо было переливать

кровь из седалища в руку или наоборот, да простит меня читатель, что я, — сын врачей, так медицински неграмотен). Я был очень слаб. Когда сестра делала мне первое переливание я на несколько секунд потерял сознание.

На переливание и другие процедуры нас выводили из камеры по несколько человек. И вот как-то меня вызвали опять к врачу на процедуру. Надзиратель привел меня в кабинет и вышел. Мы остались одни. Зинаида Борисовна вдруг достала кусок хлеба, дала мне, сама села напротив меня и сказала: «Как вы могли попасть сюда? Я — еврейка, вы — еврей. Как вы могли помогать фашистам?». Она это сказала очень просто и сердечно.

Слезы потекли по моим щекам. «Я не помогал фашистам. Я... я был тогда молод... и наговорил сам на себя...» («Молод»?!) Год прошел со времени моего самонаклепа).

— Напишите помилование на имя Сталина. — Сказала Зинаида Борисовна. — Я постараюсь переслать. Она дала мне кусок бумаги и ручку и я, сидя за ширмой, где делали переливание, быстро начал писать покаянное письмо вождю, в справедливость которого верил...

Я дописывал, когда в дверях появилась начальница медсанчасти. Женщина огромных размеров. Сравнительно молодая с резкими крупными чертами грубого лица, похожая на огромное толстое бревно, поставленное на-попа. Принципиально, помня ее фамилию, подлюю, как она сама, не называю ее. Она — позорит весь женский род. Жестокая, тупая, пышущая злобой. На ней сотни смертей безвременно погибших в централье. Будучи такой огромной бой-бабой, она, видимо, имела власть и над другими служащими тюрьмы. Ее боялись не только надзиратели, но и, говорят, сам Чалый. Это она решала вопрос о том, кого отправлять в больницу, кого в слабосилку, кого в общую камеру, кого — в карцер. Грубая, она с ненавистью смотрела на нас всех без разбора, делая исключение лишь для бандитов, которых считала советскими людьми...

Зинаида Борисовна успела схватить и спрятать листок, на котором я успех дописать помилование.

Начальница грубо, не стесняясь меня, набросилась на врачиху. Меня вывели. Начальница, помню, гаркнула на нее что-то вроде того, что нечего здесь ей беседовать с фашистом. Полагаю, сестра успела донести обо мне.

Однако, Зинаида Борисовна что-то с достоинством возразила о врачебном долге, что, вероятно, еще более взъярило начальницу. Зинаида Борисовна относилась ровно и мягко ко всем нам, каторжанам, хотя душа у нее болела: а вдруг среди нас кто-то из тех, кто расстреливал ее родных в Минске или Киеве?..

Другой раз, когда меня привели в санчасть, там Зинаиды Борисовны не было. Мне стали делать переливание. Едва кончили, как ввели Мишеля, который сидел в другой камере. Мишель старался попасть в больницу. Вошедшая начальница вместе с старшей медсестрой, тоже огромной бабой, — кстати, она, говорили, проверяет умерших, ударяя колуном по голове, — стали грубо что-то говорить Мишелю. Тот потребовал термометр, чтобы доказать, что болен. Едва он сунул термометр под мышку, как сестра потребовала его обратно: дескать, хватит держать. И тут на моих глазах произошло чудо. Если б я сам не был тому свидетелем, ни за что бы не поверил.

Мишель быстро вынул термометр из-под мышки. «Так вы не хотите меня класть в больницу, не верите, что я больной?»

— Нечего притворяться, давай термометр.

— Так вот до чего вы доводите людей. — Театрально воскликнул Мишель и вдруг, вытянув шею, сунул термометр себе в глотку и проглотил его. «Вот так. — Теперь будете отвечать за мою жизнь». — Патетически закончил Мишель.

Сестра вскрикнула, выбежала и Мишеля действительно забрали в больницу. На операцию.

Я тогда еще не знал, не верил, что тюремные и лагерные старожилы владеют столь многими способами «мастырок» (вызывания ложных заболеваний), чтобы избежать отправки на общие тяжелые работы и попасть в больницу. Больница была спасением. В ней кормили значительно лучше, чем в общих камерах. Там давали пятьсот граммов

хлеба и приварок был значительно гуще. Кроме того, там к обеду давали около ста граммов жидкой каши, а по утрам кусочек соленой рыбы. В больнице можно было как-то набраться сил для дальнейшего существования. Потому-то Мишель и стремился попасть туда. Впоследствии, когда я встретился с ним в другой камере, он рассказывал, что владеет способами безболезненного глотания не только термометров, чему я был свидетелем; что у него в животе побывали разные металлические предметы, включая чайные ложки и железные черенки ложек. Все это извлекалось операционным путем. Мишель лежал в больнице и набирался сил для новых приключений в общих камерах. Этого необычного типа уже и в центре стали по-своему уважать надзиратели, видя в нем не безропотную скотину.

В тюрьме мне довелось научить грамоте, читать и писать. Кроме Мишеля еще одного каторжника, на сей раз... политического (убежал из плена и наговорил на себя).

Но это обучение, конечно, произошло уже значительно позже, когда разрешили переписку и за наличие простого карандаша (химический строго-настроено воспрещен) и кусочка чистой бумаги перестали сажать в карцер.

Как все представители уголовного мира, Мишель был хвастуном и вруном. Нельзя сказать, что природа обидела его фантазией. Возможно, этим объясняются его приключения, а также свойственная опять же многим представителям уголовного мира, тяга к искусству, в частности к актерскому творчеству. Мишель умел слушать. А как-то, будучи в лирическом настроении, даже сам взялся рассказать один из понравившихся ему романов, именно — своих, так как кого-либо похожего на автора у этой галиматии представить невозможно. В ней смешались средневековые королевы и современные воровы и блатные, рыцари, разъезжающие на фордах и линкольнах, «лягавые» из Лондона и Москвы, французский король, вышеупомянутая английская королева, принцы, фраеры разного сорта и так далее. К концу благородный любовник королевы, вор в законе, убедившись, «что она блядь», изменившая ему с королем Англии или каким-то герцогом, убивает неверную «финским кинжалом», а сам после того, тем же кинжалом пронзает себе грудь и тоже умирает.

Мишель, рассказывая, переживал за героя. «И тогда, — чуть ли не сдерживая слезы, произнес он, — когда он (благородный вор) увидел, что она такая сука позорная, то волосы у него встали дубом». Тут мы с Борисом Григорьевым, слушавшие этот «роман», чуть не упали со смеху с верхних нар, где исповедывался нам Мишель. Он страшно удивился: «Конечно, «дубом», а как еще волосы могут встать?..» Он даже не знал, что «дыбом». Последнее слово не укладывалось ни в его понятия, ни в словарный запас. Что поделаешь: таковы вкусы постоянных жителей тюрьмы или лагеря. Чем больше бессмыслицы и безвкусицы, тем острее ощущение в их восприятии.

Все же Зинаида Борисовна ухитрилась меня перевести в камеру-слабосилку, где давали хлеба на пятьдесят граммов больше. Увы, блаженство длилось всего один день. Не помню: успел я получить пятисотграммовую пайку или так и не успел. Начальница медсанчасти, делая обход камер, вошла в слабосилку в сопровождении Зинаиды Борисовны, сестры-великанши и надзирателя. Мы все, я еще ни с кем не успел даже познакомиться, выстроились, как положено при появлении начальства.

Начальница окинула взглядом выстроившихся и, на мгновение остановив взгляд на мне, гаркнула: «Кто разрешил поместить его сюда?! Вы, Зинаида Борисовна (так я узнал имя своего ангела-хранителя)?! Да я Вас... (Она матюгнулась) за такие вещи в порошок сотру! (Она не стеснялась нашим присутствием).

Зинаида Борисовна попыталась что-то возразить о моем состоянии. Я, действительно, был доходягой из доходяг, но начальница тут же велела: «Сейчас же — в общую». И меня вновь бросили в восемнадцатую камеру.

— Что? Отдохнул? — Съехидничал кто-то. Ложись и не рыпайся. Подыхаловка для всех одна. (А у нас из камеры некоторых все же взяли в слабосилку).

Баланда иногда была погуще, когда ее делали из черемши, заячьего чеснока. Весь централ прованивался его запахом. В баланде никогда не было пятнышек жира Это была, как говорили, «нагольная вода». В ней плавали иногда картофельные очистки, даже «глазки» картошки, рыбы косточки. При черемше баланда была густой такого продукта не жалко даже для каторжников. Вкуснее этой пищи, казалось, ничего нет. Поговаривали, что главный повар некогда был главным поваром в ресторане гостиницы «Москва» или в чем-то похожем. Полагаю, любой повар в тех условиях мог нам показаться не только поваром из ресторана «Москва», но и из самого Кремля

Однако, время от времени в центре происходило передвижение по камерам, перераспределение. И в один прекрасный серый день нас распределили по другим камерам. Я попал в пятидесятую или пятьдесят вторую, уж не помню, но это была огромная просторная камера на солнечной стороне.

18. НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ

Уже не помню точно номер камеры. Но была она огромная, солнечная. На двухъярусных нарах вдоль боковых стен разместилось более ста каторжан. Кажется, сперва даже было полтораэта, но постепенно Смесь делала централ все более просторным. Через сучок (дырку от сучка в дощатом козырьке с верхних нарах сбоку можно было, не приближаясь к окну, что запрещалось, видеть часть двора, угол бани, даже кусочек окружающего ландшафта — зеленый пригорок, покрытый лесом. Доносились многозначительные звуки. Скрип телеги ни свет ни заря оповещал о том, что черный бычок вывозит за ворота уже проверенных мертвецов (их сперва «проверяли» в тюремном здании, в мертвецкой, а потом еще раз при выезде за ворота). Закапывали где-то за оградой, может быть, за тем же пригорком, кусочек которого мы могли иногда видеть. Беспокойный гогот гусей означал, что приехало начальство из области, Иркутска, и для них готовят соответствующий обед. Если доносился отчаянный визг свиньи, все понимали, что начальства приехало много и даже возможно из столицы (к визгу свиней примешивалось предсмертное гоготанье гусей). Одним словом, здесь уже не было того мертвящего холодного безмолвия, как в камере номер 18. В ней мы провели несколько месяцев, покидали ее почти летом, но облечение на ее решетках еще полностью не прошло.

По очереди мы поднимались на вторые нары справа от двери у окна, ложились на них и, прищурясь, смотрели в «глазок» козырька.

Много не могли. Но все-таки... Позднее я замечал:

Тайга и сопки вокруг централа.
Он вдалеке от всех дорог;
Но на окне решетки мало
И перед нею — «kozyрек»;
Чтоб никому не мог присниться
Из этих стен на волю путь,
Чтоб не могли луна и птицы
Сюда случайно заглянуть.

Восемнадцатую, как я понял, расселили по другим камерам, а туда поместили, вероятно, заключенных с солнечной стороны. Разница в «климате» была действительно огромная. Будто из Заполярья попали в Сочи летом. Вместе со мной были Курбан и еще человек десять-двенадцать из восемнадцатой. Старожилы указали новичкам места поближе к двери и параше. Я лег на нижние нары, боясь по горькому опыту предыдущей камеры «как бы чего не вышло». Там однажды в холоде я ночью обмочился и утром за это был жестоко избит, хотя подобные казусы случались не только со мной.

Здесь можно было «погулять» во всю вокруг стола, за которым, как всегда, «забывали козла» любители домино. Огромные параша стояли справа от входной двери, с левой стояла кадка с кипятком. В солнечном свете камера казалась чище, веселее угрюмой восемнадцатой. Лица жильцов здесь мне тоже показались более мягкими, чем в прежней. Ко

мне одним из первых подошел маленький старичок — ему было 82 года — и осведомился, откуда я. Увы, мой ответ его не устроил: он искал земляка из Белоруссии. Позже я узнал, что свои двадцать лет он получил анекдотическим образом: в его деревне свирепствовали местные полиция. Однажды старик шел к колодцу за водой, нес ведро и веревку, на которой опускал его в колодец. Вдруг из-за угла выскочили два полиция и забрали у него веревку, на которой через несколько минут повесили пойманного партизана. «За активное пособничество оккупантам» и предоставление им средств казни старику отмеряли двадцать лет: когда пришли наши кто-то додумался указать, что веревка была «евоная». ...Понятно, что к этому присовокупили то, что приписывали всем — «неверие в победу Красной Армии», «угодничество немцам» и так далее.

В этой же камере я познакомился с Егором Ильичом Жуком (Жук), председателем одного из лучших колхозов Харьковской области, кажется участником Всесоюзной выставки достижений народного хозяйства. Егора Ильича, когда пришли немцы, колхозники единогласно выбрали своим старостой. Он защищал интересы крестьян-колхозников. Но... колхоз делал поставки вермахту и Егору Ильичу дали пятнадцать лет каторги. Иногда думалось, что имей возможность, наши органы правосудия («органы» они, безусловно, но к правосудию я их отношу против своей воли...) «припаяли» бы солидные сроки наказания ...коровам (они давали молоко и мясо оккупантам), овцам (те давали шерсть), безусловно курам (они несли яйца оккупантам) и так далее.

«Кузнец» попал в другую камеру, Леонид тоже. Но по обоим я не скучал. Здесь было спокойнее, хотя тоже имелись свои уголовники — Бабай (но тот себя ничем не проявлял), один фальшивомонетчик и бандит Афанасий Борисов, якут. Последний по совместительству был стукачом, получал изредка шестьдесят рублей, на которые приобретал махорку и, возвращаясь от «кума», всегда имел порядочно табаку. Борисов продавал его по уже выше указанным «ценам» (спичечный коробок махорки — пайка или полторы), а потому был в теле и по сравнению с остальными не так голоден. Свое верховенство в камере он утвердил избив до полусмерти беднягу — фальшивомонетчика: придрался к чему-то пустяковому и на этой основе избил (такая придрка называлась «солдатской причиной», по латыни — казус белли (Букв. — повод для войны (лат.)). После этого он стал непризнанным главарем в камере. Все его опасались. Но того авторитета, как «Кузнец», Мишель или Адушкин и еще некоторые, он иметь не мог, так как был стукачом. Просто в нашей огромной камере некого было ему противопоставить. Был он груб, задирист и громко выражал свое презрение к нам, «фашистам» и русским. Так как на его счету было еще несколько избиений с ним никто не хотел связываться, весь «народ безмолвствовал» и терпел.

Позднее в эту камеру бросили еще одного интересного человека, поляка из Одессы Володю Дыбека. Ему к тому времени (сорок пятый год) было около двадцати шести — двадцати восьми лет. В тридцать седьмом году его родителей репрессировали, ему дали по статье пятьдесят восемь пункт десятый сперва пять лет, а потом, в лагере, вызвали и предложили расписаться: добавили еще пятнадцать лет, но уже каторги.

Володя закончил после школы какой-то рабфак и был художником. Малюсеньким кусочком тщательно скрываемого на шмонах грифеля он рисовал сокамерников. Нарисовал и меня. Но это было позднее, когда разрешили переписку и не так строго стали следить за тем, чтобы у нас не было ни кусочка бумаги. Дыбек был очень худой, высокий, стройный блондин, насколько можно судить по нашим наголо стриженным головам. Был он очень выдержанным и спокойным. Вообще, я заметил, что те, кто уже побывал до нас в лагерях держали себя иначе, чем мы, новички. У тех была какая-то степенность, этакое подчас безразличие не от мира сего к нашим «житейским» дрызгам и невздам. Таков был и Бруно в Кировской тюрьме и другие.

19. ФЕДЯ ФЕСЕНКО И ЖОРИК ШЕНБЕРГ

Когда я только первый день находился в камере, обратил внимание на стройного, конечно худого молодого человека примерно моего возраста с несколько удлинненным книзу волевым лицом, как-то странно, но проворно взбиравшимся на свое место на верхних нарах. Позднее я заметил, что правая рука у него неживая, высохшая, и висит плетью. Мы познакомились. Федя Фесенко, житель Пятигорска, на год моложе меня был в начале войны призван и отправлен на фронт, где получил тяжелое ранение, сделавшее его инвалидом, негодным ни к какой военной службе. Федю демобилизовали и он уехал в родной город. Вскоре Пятигорск заняли немцы. Федя, комсомолец, уже начинавший печататься до войны, особенно увлекался поэзией. Кумиром его был Лермонтов. Его поэтические произведения Федя знал все наизусть. Федины стихи, написанные до войны получили одобрение тогдашнего «метра» Северного Кавказа, Семена Бабаевского, впоследствии автора нашумевшего романа «Кавалер золотой звезды», весьма тенденциозного, но стилистически неплохого. Федя был советским человеком, как и я. Он тяжело переживал все несчастья сорок первого года. Гнев и досада брали юношу, успевшего познакомиться с нашей фронтовой неурядицей, познавшего окопный голод и горечь отступления. Неразбериха того времени, нераспорядительность и бездарность наших полководцев, отличавшихся в гражданскую войну, но ничему не научившихся за двадцать лет передышки, не давали Феде покоя. Демобилизовавшись, он дома пописывал стихи о могучей природе Кавказа, а также сочинил несколько едких эпиграмм о наших «гениях» — Ворошилове, Буденном, кажется о самом **Сталине** и, помню, о **Кагановиче**. Последняя эпиграмма кончилась примерно так:

«И нынче я уверен в том,
Что весь наш славный

Совнарком

Мог состоять на пять шестых
Из Кагановичей одних».

Федя не был антисемитом (впоследствии он женился на еврейке), он был настоящим воспитанником довоенного времени, интернационалистом. Но быстрое возвышение Кагановичей (затем последовало столь же стремительное падение всех, за исключением Лазаря Моисеевича) произвело смешное впечатление не только на него. Едкой была эпиграмма на Ворошилова, Федя не мог простить ему поражений сорок первого года, чему предшествовали хвастливые заверения «первого красного офицера», что мы «будем вести войну на чужой территории» и тому подобные громкие фразы.

Имея закадычного друга, Федя читал ему свои опусы, даже дал переписать некоторые стихотворения и эпиграммы. Когда немцы заняли Пятигорск, Федин приятель, увы, как и многие тогда изуверившийся в возможности нашей победы, не говоря ни слова Феде, отнес его эпиграммы в местную немецкую газету на русском языке. Эпиграммы напечатали и поместили подпись «Федор Фесенко». Когда наши пришли, Федю тотчас арестовали. Он не пожелал впутывать в это дело своего приятеля, признал себя полностью виновным, за что был приговорен к расстрелу, замененному двадцатью годами каторжных работ и пятью годами последующего поражения в политических правах (у меня, как и у других тоже было это «поражение», «намордник»). Федю осудили по статье пятьдесят восемь пункт десятый. Но так как юноша был инвалидом, его направили не в лагерь, а как и всех других инвалидов, стариков, безнадежных доходяг вроде меня — в каторжную тюрьму.

Федя был начитанным юношей. Отлично знал отечественную и зарубежную литературу (он готовился стать профессиональным писателем), неплохо разбирался в истории; конечно, знал теорию литературы. Незаурядные способности, отличная память, артистичность (он хорошо читал, стихи и прозу, умел выразительно рассказывать, хотя признавался, что «лучше этого жидя (меня) не слышал теща или рассказчика» (я доселе горжусь этим признанием). Но такое Федя говорил, любя. Я уже так привык к слову «жид», что не считал нужным обижаться. Да и не многие в камере это слово употребляли. Федя

неплохо играл в шахматы, но так ни разу и не сумел даже добиться ничьей в игре со мной, впрочем этого не мог добиться никто в камере и, возможно, во всей тюрьме (нашел, чем гордиться). А дело в том, что находившийся в этой же камере Георгий (Жорик) Шенберг, немец, инженер из Харькова, сделал из хлеба маленькие шахматы. Увы, когда как-то все ушли на прогулку, после возвращения шахмат не нашли: кто-то из оставшихся съел. Тогда Жорик, черпнув на прогулке немного земли или глины, сделал другие, прибавив к ним уже мизерную долю хлеба. Когда слепленные Жориком фигурки высохли, они стали очень твердыми и, к счастью, несъедобными.

Жорик был старше нас с Федей. Ему было тогда уже лет тридцать пять. Разносторонне образованный, хорошо знавший и любивший музыку (он играл на фортепиано), Шенберг стал тем интеллектуальным стержнем, вокруг которого вращались мы с Федей. Маленький, хромой (у Жорика была врожденная «козлиная нога») с умными, сверлящими глазами, он своей «шкандыбающей» походкой расхаживал с нами вокруг стола и мы вспоминали прочитанные книги, намечая мне новые выступления. Здесь, в этой камере, я снова и снова выступал с чтением наизусть поэм, стихотворений; особенно любили баллады «Василий Шибанов» А. К. Толстого, «Смальгольеский барон» (из В. Скотта), «Перчатку» (из Шиллера), «Белое покрывало» Морица Гартмана. Особо хочу напомнить об успехе читаемого мною стихотворения Гольца-Миллера «Слушай». Его тюремная тематика находила живейший отклик у слушателей. Всем казалось, что это написано про наш Александровский централ, что это из него в далекие времена пытался бежать безвестный узник. Порой, замечали, что надзиратели задержавшись у нашей двери, слушают мое чтение. Правда, слушали по-разному. Как-то один надзиратель открыл дверь, прервав мое чтение «Размышления у парадного подъезда» и строго спросил, что это я читаю. Я ответил, что читаю маленькую поэму Некрасова.

— А он в какой камере? — Не шутя, спросил надзиратель.

Я объяснил, что поэт давно умер и надзиратель успокоился; только предложил читать «немного потише и без выражения».

За исключением Жорика, Феде и еще нескольких человек обитатели камеры не имели понятия о таких популярных произведениях как «Принц и нищий», «Хижина дяди Тома», «Три мушкетера», «Граф Монте-Кристо», «Пармская обитель», «Камо грядеши», «Отверженные», «Собор Парижской богородицы», «Королева Марго», «Князь Серебряный» и т. п. Я же все эти романы помнил очень хорошо. Однако, физическая слабость делала возможным чтение не более двух-трех часов в сутки и некоторые книги, которые я особенно хорошо помнил, как например «Отверженные», я рассказывал около двух недель, с продолжениями. Вся камера замирала, а некоторых, как Бабая, одергивали, чтоб они не мешали слушать. Я уставал, рассказывая, но как-то чувствовал сам себя полноценнее, внутренне сильнее. И все же отношение ко мне характеризовалось желанием некоторых «отыграться на жиде». Не знаю, что им сделали евреи (как будто не — евреи мало гадостей делали; по-моему, даже больше, чем евреи)? Нередко, чтобы подкусить меня, заводили разговоры со всякой явно выдуманной клеветнической всячиной о евреях. Несмотря на то, что Федя и Жорик предупреждали меня, чтобы я не вступал в споры с этими безграмотными, я не выдерживал и кончалось тем, что «за скверный нрав» получал тумаков, и еще час назад выступавший перед нами артист шел к своему месту на нижних нарах, недалеко от параши, с новыми синяками. Почему Жорик и Федя не вступались? А что они могли сделать? Один слабенький, маленький, хромой, другой сухорукий?! Они, как могли, словами пытались урезонить буянов — и то спасибо. Потом они меня ругали за невыдержанность.

Особое место в жизни камеры (и других камер) занимали ...весы. Почти у половины обитателей централа они находились всегда под рукой и на бесчисленных шмонах надзирателям едва ли удавалось находить десятую часть этих точных измерительных приборов, «контролировавших» качество обслуживания. Редко-редко кто не проверял каждое утро вес получаемой пайки.

Обычные весы представляли собой небольшое деревянное

коромысло, по концам которого на ссуканных веревочках висели заостренные палочки. Их втыкали в пайки и смотрели: на много ли одна тяжелее другой. Если какая-то явно уступала, владелец бежал к кормушке, требуя проверить и добавить: ведь каждый грамм хлеба представлял частицу нашей жизни.

Но эти примитивные весы вскоре уступили место другим. Случайно во время посещения бани кто-то нашел маленькую гиру. Вот с этой-то гири по всем камерам и пошла эра точнейших весов. У нас лучшим мастером по их изготовлению был Жорик.

Какие же инструменты водились у нас? Ножички («писочки»), иголки, кусочки стекла, подобранного на прогулке, черепки от наших разбитых мисок. Объясню процесс приготовления разных вещей, спутников нашего обихода. Итак, на прогулке, несмотря на бдительное наблюдение дежурного, стремительно нагнувшись, кто-то поднял кусочек проволоки, другой — осколочек стекла, третий — малюсенькую железку, четвертый — камушек. Возвратясь в камеру, из проволоки делают несколько иголок, обтачивая куски проволоки на черепках от глиняной миски. На ней же затачивают «писочку» (ножик). С помощью его отрезают, откалывают от нар кусочек дерева, щепку, обрабатывают ее стеклышком, потом производят соответствующие разметки. Наиточнейшие весы, с точностью до половины грамма, были у самого Жорика и у еще двух-трех человек. Весы, сделанные мне Жориком были относительно точными, до одного-двух граммов. Дело в том, что моими весами была... моя деревянная ложка. Когда я получал утреннюю пайку, одевал на черенок ложки веревочную петельку, со стороны черенка, на веревочке был штырь (он тоже надевался). Штырь втыкал в хлеб и, водя веревочкой по черенку, на котором были едва заметные деления (противовесом служила сама ложка) узнавал точный вес пайки. Почему могли быть отклонения? Дело в том, что, пользуясь этой ложкой, я все-таки делал влажной, а это несколько нарушало точность. В конце ее черенка внутри помещалась иголка и там же миниатюрная «писочка», все сделанные Жориком. При обыске я равнодушно откладывал ложку на снимаемую с себя одежду, а как-то даже попросил надзирателя поддержать, пока я разденусь. Ведь при шмонах раздевали догола. Впрочем, об этом достаточно подробно говорит мое стихотворение «Шмон в Александровском централье»: Шмоны, как правило, проводились после бани, то есть, раз в десять дней. Конечно, случалось и чаще, если вдруг дежурный надзиратель в глазок подглядит, что у кого-то есть «писочка», кто-то что-то кроит, шьет. Иголки тоже запрещались. Давать их нам не давали, а вечно прожариваемая одежда дошла за два-три года до такого состояния, что расплзалась не только по швам, а по ниткам.

Весь централ представлял собой огромную дурацкую подышаловку. Постепенно в камерах становилось все просторнее. Заняться людям было нечем. Валяться весь день на нарах — бока болели. Безделие вело к обзлению, даже озверению, благо сочеталось с голодом. «Сукание» ниток, изготовление тайком иголочек, «писок», весов убивало время, придавало самому что-то делающему каторжанину, подобие занятости полезным трудом. Часами и я мог сукать нитки, незаметно стеклышком выпиливать в кусочке проволоки дырочку — ушко для продевания нитки, обрабатывать какой-то кусочек камушка, призванного в дальнейшем стать инструментом и так далее. Надзиратели знали обо всех этих занятиях, но, думаю, им было лень устраивать бесконечные тревоги из-за пустяков. Когда им подавали явно недовешанную пайку они, отойдя в другой конец коридора, проверяли ее вес... на «трофейных», отобранных у нас же во время шмона весах. Потом дополняли слишком легкую довеском и возвращали через кормушку в камеру. Блатные никогда, разве уж при очень явном недовесе, требовали перевесить пайку. Стеклышком блатные брились — и неплохо. Однако, если на проверке дежурный надзиратель вдруг замечал довольно чисто выбритое лицо, то карцер был неизбежен. Нас же всех «под нулевку» стригли в бане. Теперь уже не удивлялись, как при первых стрижках-брижках:

Голова — что шар крокетный:

Обкарнали «под нулевку»,
И под мышками побрили,
И лобок обрили ловко
(Вшам нигде не зацепиться),
И ошипанным цыпленком,
Для бульона еле годным,
Клювом вниз на шее тонкой
Член свисает детородный,
Тощей, вымученной птицей.
Двадцать лет ему поститься
Трибунал велел военный;
И стою, худой и бледный,
Растеряха бестолковый,
Словно бы младенец бедный.
На пороге жизни новой.

Так называемая санобработка, особенно первая, производит гнетущее впечатление. После нее ты уже не человек. Сам себя не узнаешь, а если узнаешь, то содрогаясь. «К чести» нашей Советской армии, даже нас, добровольцев, ушедших своей волей защищать Родину, подвергали этой унижительной «операции» и затем нередко немцы по стриженой голове безошибочно узнавали пробиравшегося к своим из окружения переодетого красноармейца. Но вернемся в централ. И так...

20. БАННЫЕ ЭПИЗОДЫ

Когда брили под мышками и лобки, частенько случались порезы, долго не заживавшие. Банные горе—парикмахеры эки, особенно первое время не уступали надзирателям в бездушии. Вероятно, их хорошенько распропагандировали накануне встреч с каторжниками. Однако, Мишель ухитрился и через этих банщиков передавать ксивы (записки), а то и немного табака «Кузнецу» и Адушину (тот орудовал в другой камере). Через год-другой в бане появился толстый, более добродушный парикмахер, иногда позволявший себе даже перекинуться несколькими словами с каторжниками, конечно, если никто из надзирателей не видел.

Обычно перед баней к камере подносили две-три огромных кадки с дымящимся кипятком. Дежурные его быстро заносили и начиналась ошпарка нар, уничтожение клопов. Чем кипяток был круче, тем, конечно, он действовал эффективнее. Но вывести всех никогда не удавалось и через два-три дня «звери» снова нападали и на спящих и на просто лежащих на нарах каторжников.

После «прошпарки» клопов всю камеру вели в баню. Там стригли наголо, если уже начинали отрастать волосы; подбрасывали под мышками и ниже (смотрите выше, в стихотворении); давали каждому кусочек мыла величиной с половину спичечного коробка. Всю верхнюю одежду, белье, меховую одежду, если у кого была, а то и кожаную забирали в «вошебойку», прожарку. После нее ни одного насекомого в одежде не сохранялось, даже затерявшегося клопа. Нас же всех загоняли в моечную.

Там мы мылись под душем. Кроме того, были шайки.

Некоторые предпочитали мыться в них. Некоторые пользовались и душем и шайками. Иные проносили в моечную носовые платочки (тряпочки, заменявшие их) или подобия полотенец (тоже тряпочки) и стирали их в шайках. Это было быстрее и лучше, чем стирать в камере над парашей, обливая материю изо рта, так как кипяченую воду тоже нельзя было щедро расходовать. Из бани некоторые выносили в камеру остатки кусочков мыла. Пригодятся и для мойки в камере, и для обмазывания веревочки вместо давно потерянного шнурка для ботинок, и для мастырки... Иные, желая во что бы то ни стало попасть в больницу, съедали мыло. Начинался отчаянный кровавый понос и «больного» клали в больницу, где он обычно вскоре умирал, так как остановить понос после каустика было невозможно. Но, говорят, иным удавалось в больнице остановить понос и они, насладившись недельку-другую более

сносным питанием, затем возвращались в камеру. Признаюсь, не разузнав толком как употреблять мыло и, желая тоже немного посытнее поесть в больнице, я как-то после бани тоже попытался съесть мыло. Я даже оставил с утра кусочек пайки, чтобы не так противно было. Мыло я заложил в хлеб и начал есть. Но так сразу стало жечь во рту, таким было это мыло гадким, что не уверен, что смог сколько-нибудь съесть. Я лежал после обеденной баланды на нарах и, прикрывшись бушлатом, будто сплю, ел хлеб, начиненный мылом. Бррр... Я все выплевывал в бушлат, чтобы не заметили и, очевидно, выплюнул все, так как никакого поноса не получил и по-прежнему ходил на парашу не чаще чем один раз в три-четыре дня (ходить чаще было досадно: полный желудок дольше оставляет, казалось, ощущение относительной сытости). Баланда была настолько обезжиренной, что во время утреннего выхода оправиться все равно не успеешь (из-за отсутствия жиров и движения, оправка всегда очень тугая). Утром и вечером выгоняют на оправку. Дежурные подхватывают на толщенные палки параши и несут по коридору. За ними идем мы. В уборной сперва опорожняют параши. Ополаскивают. Иногда дают немного хлора на дно. Остальные просто «дышат воздухом», так как оправиться не успевают, только помочиться. И — назад в камеру. Но в уборной уже кто-то подцепил окурочек, а то и ксиву, из которой узнает, в какой камере его земляк или приятель. Когда стали получать посылки, в них попадалось дешевое туалетное мыло — «Земляничное». В бане все норовили хоть разок провести им по волосам. Его аромат так отличался от «тюремного духа».

Но вернемся в моечную. Там нет-нет да друг дружке спины потрем тряпицей; там, к ужасу стариков, после мойки я обязательно постою под холодным душем, чтобы почувствовать себя бодрее. И вот мы выходим из моечной в помещение, где нас ждет дымящееся, горячее, только что из прожарки белье и одежда (белья у многих, в том числе у меня, уже не было). Штаны надевали прямо на голое тело. Случалось, что прожарка не успевала и мы мерзли голые, дожидаясь выдачи одежды.

В то время как нас выгоняли из моечной, дверь за нами запирали, а в моечную загоняли обитателей другой камеры. Как-то мы вышли из моечной, одежда еще не была прожарена, и голые стали топтаться, переминаясь с ноги на ногу. Вдруг один, подошедший к двери, громко шепнул: «Хлопцы, а ведь там бабы». — И так как дверь оказалась незапертой (упущение надзирателя) мы оказались друг против друга, открыв дверь — голые мужчины и голые женщины. О стыде как-то не подумалось, время было голодное, и мы столпились в этой, а они с другой стороны двери.

В основном это были молодые, стройные женщины, как и мы, очень белокожие и бледнолицые от того, что мало бывали на свежем воздухе, на солнце.

— Здравствуйте, девушки.

— Здравствуйте, хлопцы. Какие вы все тощие?!

— Вы откуда?— Задал один вопрос. Женщина ответила.

— А из какой камеры?

Та назвала номер.

Сзади напирала любопытные: «Спроси: сколько грамм хлеба им дают?»

— Четыреста пятьдесят.

— И нам тоже (глубокий вздох).

— Девочки, а в то воскресенье вам утром кусочек рыбы давали?

— Давали.

— А нам — нет.

— Девочки, а вам кашку раз в неделю дают, как на слабосилке?

— Иногда дают. А вам?

— Нам — нет.

— Спроси, спроси,— напирает из сзади стоящих один,— спроси: баланда у них густая вчера была али нет?

Отвечают. И в том же духе все вопросы. Против нас стоят молодые женщины (к дверям подошла только одна старуха), мы стоим в одном шаге от них и хоть бы у кого что-нибудь. Все еда да еда.

Прибежавший надзиратель поспешно запер дверь. Но эта

трагикомическая сцена мне запомнилась. Говорили, что женщины легче переносят голод. Им дежурные надзиратели чаще дают добавку баланды, да и баланду выбирают погуще. Не знаю. Некоторые, которых якобы в отсутствие женщин (когда тех водили в баню) вызывали на уборку их камеры, говорили, что у них грязнее, чем у нас, что они даже находили там на нарах тряпочки, набитые кашей, («клиттеры»)...

Запомнилась высокая стройная молодая женщина, очень хорошо сложенная (а может быть, просто все кости были «наружу»). Она стояла первой у дверей напротив нас. Грустно оглядывала нас и отвечала на вопросы. Никто, ни они, ни мы, не стеснялись своей наготы.

Некоторым снятся женщины. Мне тоже снятся мои знакомые девушки и женщины из деревни Вохоново, где я был в плену и откуда убежал к «своим...». Снятся мне и довоенные знакомые девочки и женщины. Но они не снятся голыми и вместе с ними, немцами и старыми довоенными друзьями, властно в каждый сон вторгается хлеб, хлебные пайки, баланда. Поллюций у меня не было. Федя говорил, что у него они бывают.

После бани, обычно сразу же после прихода, начинаются шмоны. Подозревают, что из бани мы всегда что-нибудь прихватываем запретное. Шмонают весь коридор. По очереди, одну камеру за другой. Мы это знаем и кто как может прячет свои драгоценности — весы, иголки, ножички, стеклышки. Прячем быстро, так как знаем: шмон могут начать с нас и тогда не успеешь приготовиться. Кое-что прячем в нары, в тайнички в досках. И вот наступает страшная минута. После шмона не раз сразу угоджали некоторые в карцер («кандей»). И так...

21. ШМОН В АЛЕКСАНДРОВСКОМ ЦЕНТРАЛЕ

Шмон (на языке заключенных) — обыск.
(Зарисовка с натуры)

—Живо — с нар—
и в коридор!

Вон!
Все из камеры с вещами —
Вон!
Корпусной исходит матом,
Тьма дежурных,
Все в халатах
(Здоровенные ребята).
— Шмон!!!..
Как успеть иголку спрятать?
Шмон, шмон, шмон!..
— Вон!
— Скорей!
— Живей!
— Быстрей!..
За копейку, за стекляшку,
Черепок,
За измятую бумажку,
Гвоздик, грифеля кусок —
В кандей!!! *
Коль найдут,
Упекут,
Не жди пощады.
Изведут,
Угробят гады.
Шмоннн!!!..
Все тряпчушки, все лохмотья
Перещупывают.
Ты, нагой и босой,
Стой!
— Холодно? Замерз? Дрожишь?
Рот открой!

Язык покажи! Ягодицы раздвигай!
Ну-ка!..
Даже стены корпусной
Сам обстучал:
«Где что спрятал,
Отдавай,
Ссука!»
И везде, со всех сторон —
Шмон, шмон, шмон...
Ищут в нарах, ищут в рамах,
В щелях пола, в узких самых,
И в параше, в вязком дне —
В говне.
— Поворачивай, пацан, скелет!
— Пальцы, пальцы растопырь,

дед!

Изорвали башмаки:
под подошвой
Ищут, окаянные;
В уголке нашли
от миски черепки,
Изломали
ложки деревянные.
Эк досада: некого сажать...
Загоняют в камеру опять.
Всех ругает корпусной челдон.
Двери вновь закрыты на замок.
Слышь,
соседей
выгоняют в

коридор:

Там —
шмон.

* * *

Говорят,
В наш Александровский централ
Чернышевский
Некогда попал.
Жаль, что в вещих снах
«Что делать?»
Он
В светлом будущем
Не мог увидеть
Шмон...

(Кандей (на языке заключенных) — карцер, штрафной изолятор.)

Как-то шмон нагрянул очень уж неожиданно и, выбегая в коридор, я вынужден был на ходу выбросить в парашу ножичек, который не успел спрятать. Надзиратель заметил, что я что-то опустил в жижу (это была параша для того, чтобы мочиться и умываться над ней). Остановил меня и спросил, что я бросил. Я ответил, что черепочек от миски (за это не сажали).

— А-ну достань. — Потребовал надзиратель. Напомню, что я не был брезгливым никогда. Я засучил рукав и опустил руку в парашу. Там на дне всегда были черепки и я без труда вытащил один. Надзиратель был удовлетворен и в коридоре меня шмонал не очень свирепо, так как, видимо, не хотел касаться особенно того, кто преспокойно опустил руку до плеча в мочу.

Все же иногда... мечтаю. Расхаживая один по камере, погружаюсь в некое одиночество. Мечтаю: а вдруг происходит чудо: моя писулька о

помиловании доходит до самого Сталина. Он понимает, что из меня фашист, как из говна пуля, что я не мог быть идейным сторонником гитлеровцев и велит выпустить меня. Я иду на фронт и там начинаются мои патриотические приключения, благо знание всех повадок и даже кое-каких диалектических и казарменных выражений немецких солдат позволяет мне творить чудеса. Я спасаю жизнь попавшим в плен Мельхиору Клаусу, Вилли Хёвельмайеру, Руди Нойману, Эрнсту Виттерну, фон Бляйхерту и многим другим. Они с ужасом узнают, что «Алекс ист юдэ» (Александр — еврей); рассказывают при дальнейших допросах как я достойно вел себя в плену, чем опровергаются мои самонаклепы; меня вызывает сам Сталин. Конечно, на всем протяжении фантазий мне приходится иметь дело с хлебом, даже когда я спасаю Валю или кого-то из довоенных друзей. Иногда я «переигрываю» свой побег и фантазирую, что было бы, если б я не убежал, а отступил с немцами и потом попал в Париж, где дядя Сима, брат моей матери. Его она особенно любила. Одно приключение следует за другим и во всех начинается с... хлеба. Постепенно его становится все больше и думаешь только о друзьях.

22. ХВОРИ

Мы знаем, что нас обворовывают. В баланде нет ни скалочки жирной. Чай — едва подслащенное пойло. В кормушках дверцы иногда не плотно прилегают к окошку и не раз дежурные наблюдали, как коридорные, которым доставили огромные кадки с баландой из кухни, проводив доставщиков, выуживают из баланды рыбу, кусочки мяса покрупнее, — все, что там есть наиболее питательного. Работая здесь, они имеют полный рацион: ведь обворовывают и больничные камеры и слабосилку. Да, с хлебом у них номер не проходит: наши весы не дают возможности воровать. Но ухитриться при желании можно. Хлеб им тоже достается. Нам же хлеба лишнего перепасть не может: лишнюю пайку не закосишь. Конечно, бывает, что повезет и в общей камере. Как-то у нас один пожилой каторжанин утром не проснулся: умер во сне. Дежурные сперва решили на проверке сразу доложить, но их одернули и хлеб получили на покойника, как на живого. Конечно, этот хлеб дежурные тут же разделили между собой, дав кусочек камерному блатному; поев, постучали в кормушку и вызвали надзирателя; тот — корпусного. Покойника вынесли — и все. В больничной камере, где каждый день кто-нибудь умирает, всегда почти удаётся подзакосить маленько хлеба за счет покойника. Там и кашу нет-нет да за счет умерших удаётся закосить.

Под самым коленом правой ноги, точнее, чуть ниже колена нога моя раздувается, приобретает синевато-красный цвет, горячая и жутко болит. Я уже не могу ходить по камере. Лежу на верхних нарах недалеко от фальшивомонетчика, неплохого человека лет сорока, иногда рассказывающего о своем житье-бытье. Он любит слушать романы и стихи, играет немного в шахматы, а в домино — отлично. Он никого не трогает, ни над кем не подтрунивает, никого не обзывает «фашистом», как Борисов. Почему он стал подделывать деньги? Объяснить толком не хочет. По-моему, у него была большая семья и надо было ее прокормить. Подделывал он небольшие деньги, серебряные. Но в тонкости подделок меня не вводит, хотя мне это любопытно знать.

После отъезда Зинаиды Борисовны врача не видим больше года. Зверь-начальница медсанчасти появляется только вместе с комиссией из Иркутска или центра. А там не будешь ее просить о чем-либо. Да и зачем? Интересно: она считает, сколько загубила каторжан? Небось, за тысячу уже перевалило... Раз в неделю входит в камеру пожилая медсестра. Прошу ее чем-либо помочь. Но она не знает. Дает мне какое-то растирание на бараньем жире. А от него становится еще хуже. Правда, ухитрюсь его употреблять утром с хлебом: все-таки жир. Противноватый, но напоминает вкус бараньего. Я уже не могу ходить. На проверке, когда корпусной входит в камеру, Федя обращает его внимание на меня, лежащего на верхних нарах. Корпусной что-то записывает в блокнот и через час является опять та же пожилая беспомощная медсестра. Она боится приблизиться к нарам. Я сажусь, свешиваю с них ноющую ногу. Она, чуть трогает: горячая. Но разводит

руками: ничего не могу поделывать, врача нет. Она дает кусочек бинта. Я перевязываю. Но что толку. На другой день из этого кусочка сукаю нитки и вновь и вновь пытаюсь скрепить разлезающиеся мои красноармейские штаны, еще из плена. Недели две я мучился с ногами. Боялся, что опухоль пойдет выше колена. Но миновало. Как-то чуть пониже коленной чашечки, там, где особенно болело, появилась малюсенькая точечка — дырочка и из нее стала вытекать сукровица. Дня через два-три с бледной водичкой из дырочки начала вытекать жидкость, смешанная с кровью. А потом вышло чуточку чистой крови и все успокоилось. Зажило. Но одна беда не приходит. Вскоре, уже не знаю, каким образом; возможно, на прогулке, меня продуло. Насморка не появилось, температуры тоже не было. Но страшно стало болеть внутри левого уха. Боль была настолько сильная, что я не мог спать. Днем общий гомон в камере, домино, разговоры еще как-то помогали смягчать боль, забывать о ней. Но ночью после отбоя я уже был весь в ее власти. Я снова перешел к месту на нижних нарах возле параши, так как очень ослабел и влезал на верхние нары с трудом. Ночью я не мог спать; тихонько поднимался и до утра бродил без сна вокруг стола. Коридорные заглядывали. Требовали, чтоб я лег. Я объяснял шепотом, чтоб не разбудить других, что меня мучает дикая боль внутри уха. Днем приходила медсестра. Разводила руками и объясняла, что у них «от уха ничего нет».

Я уже не мог рассказывать, не садился за стол играть в шахматы или домино. Я бродил и тихонько стонал. Днем этого стона слышно не было. Но ночью его можно было услышать, потому что кто-либо из плохо спавших не раз злым шепотом ругал меня, требуя, чтобы я не стонал. Сколько времени продлилось это мучение не помню. Только воспаление перешло и на другое ухо. Я уже был сам не свой. Голова пылала, как в огне. Перед глазами шли сине-красные круги. Почти ничего перед собой не видя, я бродил вокруг стола, пытаюсь как-то в движении заглушить боль. Под утро, вконец измученный, я не надолго ложился на нары. Иногда удавалось чуточку побыть в забытьи. Так я однажды утром после короткой дремы поднялся, подошел к параше и стал умываться, то есть набирать в рот воды из глиняной миски и этой водой поливать себе на руки, а потом — руками освежать лицо. Таково было умывание. Иногда, если кипятка хватило, можно было попросить кого-либо слить из мисочки на руки. О чистке зубов, конечно, речи не было. Мы уже забыли о существовании зубных щеток. Видимо, у меня шло воспаление среднего уха у обеих ушей, если можно так выразиться, так как боль гнездилась и внутри и в ушах. Итак, я поднялся и сливал себе на руки, стоя у параши. Вдруг рядом очутился Бабай; резко оттолкнул меня и выругался. Толчок был внушительный, а сносить обиды, даже зная, что за них последует расплата, я не мог. Я, собравшись со своими доходяжими силами, в свою очередь, оттолкнул Бабая. Он ударил меня. Я, хоть и слабо, но ухитрился ударить его. Тут он нанес мне страшный удар по носу. Вероятно, он бы и дальше стал избивать меня. В глазах сразу помутилось. Но тут с верхних нарах соскочил Опанас Водянка (Водянка Афанасий Варфоломеевич, бывший полицейский из Черниговской области) я ему после освобождения писал, но ответа не было. Водянка никогда не позволял себе каких-либо грубостей в отношении кого-либо, в том числе и меня. Это был простой честный колхозник лет тридцати трех-четырех. Относился он ко мне с особенным уважением: он отличался любознательностью, всегда внимательно слушал романы, любил стихи; прослушав, задавал много вопросов, свидетельствовавших о его незаурядных способностях. Итак, Водянка, стремительно соскочил с верхних нарах и махнул ногой под носом Бабая: оставь!

Бабай не блистал храбростью; что-то буркнул, но поймав свирепый взгляд Опанаса, отошел. А я лежал на нарах, даже не пытаюсь остановить кровь, лившуюся из носа. Из ушей моих текло. Боль прошла. Едва утишив кровотечение из носа, я уже только мог пробормотать подошедшим Феде и Жорику: дайте мне поспать... После нескольких суток бессонницы я заснул мертвым сном. Проспал прогулку. А на обед меня пришлось долго тормошить прежде, чем я открыл глаза.

Боюсь сказать, сколько бессонных ночей я провел, бродя вокруг стола в притихшей камере. Удар Бабая привел к тому, что что-то у меня

внутри, где были гнойники, лопнуло, прорвало, потекло из ушей. А потом — тьфу, тьфу, тьфу, чтобы не сглазить! — до своих семидесяти трех лет я ни разу не мог пожаловаться на уши. Плавал, нырял, работал на морозе, на сквозняках. Что ж, не всегда крепкая оплеуха или удар по носу (вероятно, было и то и другое) во вред.

Конечно, лучше всего я помню эту камеру, благодаря названным мною хорошим друзьям, хорошим людям. И все же и там порой овладевало отчаяние.

Как-то после очередного какого-то казуса или просто в плохом настроении я решил, наконец, покончить счеты с жизнью. В час после получения утренней пайки, когда добрая половина камеры укладывалась поспать на относительно сытый желудок, и вокруг стола не пестрело лохмотьями голодное шествие в ожидании обеденной баланды, я на своем месте у параши прилег и сделал вид, что задремал. Я постарался получше укрыться бушлатом и положил его так, чтобы незаметно, засучив рукав гимнастерки, выполнить задуманное.

Еще вчера на прогулке я сумел незаметно поднять острюжий кусочек стеклышка. Стиснув зубы, я несколько раз резанул им по венам на пульсе, и изнутри на локтевом сгибе. Резанул несколько раз, пока стеклышко не сломалось. Почувствовал, как под рукой набирает влагу бушлат: кровь пошла. Я продолжал спокойно лежать, изредка сжимая и разжимая кулак, чтобы кровь шла быстрее и обильнее. Однако, как и в случае с мылом, я оказался недостаточно искушенным. Мыло, чтобы вызвать смертельный понос, не следовало пытаться есть, а надо было развести в кружке или миске и выпить. А вены вскрывать надо в ванночке с очень теплой, почти горячей водой. Опять же Опанас заметил, что у меня с нар к полу тянутся подозрительные кровавые ниточки, тряхнул меня; прибежали Федя и Жорик. Федя смазал по шее, а затем все стали нещадно ругать за малодушие: уйти из жизни не фокус. Пережить...

Трудно описать, как мне было тяжело на душе. И физически и духовно я чувствовал себя истощенным. Несмотря на то, что с блеском и юмором читал лермонтовскую игривую «Казначейшу», едва завершив чтение бравурной концовкой — «Друзья, пока что будет с вас», — я вновь становился самим собой, безнадежно усталым доходягой. Немалую роль в моем настроении играли подтрунивания над евреями, адресованные мне. Я пытался на них не реагировать. Но они становились подчас слишком частыми и грубо-глупыми. А дать в морду я не мог: знал по опыту, — чуть сцепишься с одним, как на тебя набросятся десятеро. А мои благожелательные слушатели, «поклонники моих талантов» в лучшем случае, сумеют разнять дерущихся или просто потом прочитат мне очередную нотацию о всетерпении. Эти же люди лизали задницу Мишелю и даже сейчас говорили о нем с определенным почтением. Они уважали инженера Корсунского, который получал в центре передачи, а потому был в теле, мог дать любому сдачи, и, ни с кем не делясь, спокойно съедать то, что ему посылали родные. Я знал, что Иосиф Корсунский помогает окружающим, независимо от тех статей, по которым они сидят. Его уважали. Он и «Кузнеца», когда тот вздумал «потянуть» его, так взял за руки, что тот на пол уселся и понял, что «гадал не в цвет» (блатное — не на того нарвался). Я же был беззащитен, чему способствовало еще и мое стремление во что бы то ни стало отреагировать, ответить, дать сдачи, несмотря на бессилие. А здесь царил право сильного, «духовитого».

23. ПОБЕДА УПРЯМСТВА

И все же, я знал, меня любили. Люди, бывшие со мной в одной камере, даже если они ко мне относились плохо, перейдя в другую камеру, рассказывали обо мне как об артисте, удивлялись и, простите, восхищались образованностью (конечно, по сравнению с ними я был таковым), незлобивостью (я легко прощал обиды), игрой в шахматы вслепую и так далее. Одним словом, я все же представлял собой какой-то незаурядный объект. При этом поражались моей непрактичности и многому, чему, возможно, стоило поразиться, в частности, упрямству.

Чтобы объяснить его приведу такой пример. Как я уже писал, наша

одежда (белья уже почти ни у кого не было) давно превратилась в лохмотья. Спали мы на своих бушлатах или телогрейках на голых досках. Лежать на боку долго не могли: больно. Кожа едва прикрывала кости. Поэтому бесконечно ворочались. Однако, все держали в какой-то мере свою одежду так, чтобы она, пестрея латками и швами, не была дырявой. Это стоило не малого труда. Следовало сукать нитки, ежедневно зашивать, штопать, нарезать латочки. И все это при том, что если надзиратель в глазок замечал, что шьют, а то и не дай Бог пользуются самодельным ножичком, сразу замеченного вытаскивали в коридор, забирали у него иголку, составляли акт и переправляли в карцер. Так что поддерживать одежду в относительном порядке было трудно и рискованно. Я тоже усердно зашивал свои старые летние защитного цвета красноармейские брючишки, повидавшие еще плен и все последующие перипетии моей судьбы. Я сукал нитки, пытался, где мог, обычно в бане или на прогулке поднять лоскутков тряпочки; зашивал и латал.

Наконец мне это надоело. Когда наступила проверка и корпусной спросил обычное: вопросы есть, я выступил вперед и, показывая на свои брюки, заявил: «Пожалуйста, найдите мне какие-нибудь брюки. Невозможно носить такие». На меня зацыкали. Два или три дня я не делал своим брюкам обычный «профилактический ремонт» и они разлезлись не то что по швам, а по ниткам. Сквозь бесчисленные дыры (брюки стали похожи на сито) выглядывало тут и там голое тело.

Каждый вечер на проверке я выступал вперед и, показывая на брюки, говорил: «Сколько же могу я так ходить? Найдите что-нибудь, гражданин начальник». Меня одергивали. Корпусной записывал. Дни шли. Я не переставал требовать свое. Камера возмущалась. Даже Федя уговаривал перестать «злить всех».

— Чем я злю?— Возражал я.— За иголку или «писочку» нас сажают в карцер, а они все зашивают и зашивают, чтобы получше выглядеть. А я так не хочу. Зачем мне рисковать? Что мне за это будет?

— Долго ли эта жидовская морда будет тут своими яйцами сверкать?— Возмущались сокамерники. Они убеждали перестать требовать, грозили, пытались переубедить. Напрасно. Я стоял на своем.

Был в камере такой каторжанин Хитрук. До сих пор не могу понять, что он собой представлял. Иногда он разживался табачком у «кума» и поговаривали, что он стукач. Он был крепок и себя не давал в обиду. С ним считались даже Борисов, фальшивомонетчик и еще один блатной с отбитыми пятками, из-за чего у него была странная походка. Когда он шел, казалось, отбрасывает пятки поочередно назад.

Хитрук попал в плен и, по его словам, там втерся в доверие к немцам. Они его обучили в какой-то скоропалительной диверсанташколе и сбросили с парашютом в наше расположение войск. Он сразу же явился в контрразведку, где глаза разинули: явился чистенький лейтенант и объясняет, что он вовсе не он, а шпион с заданием.

Какое у него было задание я так и не понял. Но это один из редких случаев, когда человек, обвиненный в шпионаже был к нему действительно причастен. Несмотря на покаяние, как давший какую-то расписку или подписку немцам, Хитрук получил пятнадцать лет каторги.

Он особенно возмущался моим видом и случилось так, что когда в ответ на его ругань я робко заметил, какое ему дело? Я же не его брюки не зашиваю (он потребовал, чтоб я сейчас же зашил их и «перестал сверкать»). Я отказался. Хитрук возмутился и начал меня бить и тут вдруг открылась кормушка и голос корпусного возгласил: «Кто тут у вас без штанов?».

Моментально к кормушке кинулось несколько человек.

— Нет,— сказал корпусной.— Тут один требовал. Где он?

Я подскочил к кормушке.

— Верно. Этот. На! — И он бросил мне почти не дырявые ватные красноармейские брюки.

Настроение камеры моментально переменялось. «Вот молодец жид!» — заявили многие. Единогласно все признали мою правоту и восхитились: вот как надо своего добиваться. А только что лупивший меня Хитрук подошел ко мне, протянул руку и, увидев, что мои новые брюки без пуговиц, оторвал от своих штанов две или три пуговицы и

протянул мне: «На! Молодец! Голова, как у Маркса!».

Не могу описать блаженство, испытанное мною, когда я на свое многотрадальное тело надел чистые, малоношенные ватные красноармейские брюки. Теплые! Важно еще, что восхищение камеры трудно описать. Вероятно, это знаменательное событие врезалось в память каждого обитателя той камеры и затем пошло, приукрашиваясь, гулять по централу. Вот люди. Только Бог — им судья. По-моему, мне даже кто-то предложил ошнарник докурить, но я отдал его или Феде или Опанасу (Жорик не курил).

Такие события разнообразили жизнь камеры. Ведь газет не получали. Ни с кем не могли из вольных разговаривать. Постоянно, когда мы выходили, за нами бдительно следили. И все же... Ходили по централу «параша». Кто-то нацарапал на прогулочном дворе: «Война с Японией». Сразу поползли слухи: японцы уже в Чите. Другой раз там же нацарапали «Война с США» — и опять поползли слухи. Дескать США требуют, чтобы нас освободили. Напрасно умные люди говорили, что из-за нас никто воевать не будет. Кому мы нужны?

Кто в нас заинтересован? Подспудно мы сами ощущаем свою ненужность, осужденные инвалиды, враги народа... В мутном и тихом, на первый взгляд, омуте тюремной жизни, в полной изоляции от внешнего мира тонули, растворялись в мелочном быте, в скотских условиях существования и выживания миллионы несбывшихся надежд и несостоявшихся судеб. Всех постоянно мучили проклятые «все бы могло быть иначе, если бы...». И люди, ставшие жертвами случайностей, кроме всего про себя, в душе, терзались осознанием собственных ошибок, в основном на следствии, где вынужденно «делали из мухи слона», наговаривая на себя; страдали от воспоминаний о глупостях, совершенных в невозвратимом, непоправимом прошлом, мысленно переигрывая его.

В атмосфере бесперспективности складывалась особая психология с понятиями противоположными общепринятым. Лозунг блатарей вообще гласил: «Уми ты сегодня, а я — завтра», призывая к отрицанию любой тени моральной порядочности. «Никогда не делай сегодня то, что можешь сделать завтра» — возвещало правило, родившееся из горького опыта лагерного распорядка, где не то, что завтра, а сейчас, вдруг тебя могут отправить на этап, посадить в изолятор (карцер), направить на другую работу, безнаказанно ограбить или даже убить. «Никогда не оставляй на завтра то, что можешь съесть сегодня». — Такой вывод в обстановке, плодившей воров, также являлся вполне логичным. «Дальше положишь — ближе возьмешь» — относилось в первую очередь к вопросу о сохранении собственной хлебной пайке, если ты хотел оставить кусочек ее себе на обед. Отсюда и «одинадцатая заповедь — «Не зевай!». И все вместе взятое, от освоения первобытных способов добывания огня для цыгарки до умения чисто выбрать лицо почти без мыла малюсеньким кусочком стекла создавало подобие жизни, но не далекой вчерашней, а особенной, и мы уже свыкались с ней, учились принимать ее такой, какую нам ее сделали другие.

24. ДУМЫ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ВЫСОКОЕ НАЧАЛЬСТВО

— Неужели,— говорил Федя,— разгуливая со мной по камере,— те три года голода, унижений, лишений, изоляции, которые мы переживаем, не могут искупить самую большую вину?

Мы перестали быть людьми. Наивность, озлобленность, растерянность, мелочность — все смешалось и поселилось в нас. Мы жили уже только камерными интересами. Жили, как в бане, голые душой и телом. Все наши привычки, приобретенные или старые, становились общим достоянием. Мы обманывали себя, свои желудки, свои умы и души. Обманывали, потому что не верили в бесконечную тупую жестокость наказания. Нас можно было отправить куда-либо осваивать необработанную землю. наших сил хватило бы. А специалисты, находившиеся среди нас, через год-два могли превратить пустыню в оазис.

По утрам начинали рассказывать сны. Гадали: что какой значит.

Я поразил людей гаданием по руке. Смеха ради, я взял руку у одного старика, зная, что ему пятьдесят лет и, пристально разглядывая ладонь, начал: «Та-ак, когда ты был совсем маленький, у тебя было что-то очень опасное (кто из нас в детстве не болел?)... та-ак, а потом, вот, тебе было лет девять-десять — какое-то волнение у тебя дома (шла русско-японская война и была революция 1905-го года). ...Та-ак. Потом будто что успокоилось... Э-ээ, опять волнение... долгое... (война 1914-1918-го года), сильное волнение, когда тебе было лет этак, года двадцать три—двадцать четыре (революция). Опять года три-четыре волнения (гражданская война). А вот солнышко засияло. Линия счастья вырисовывается яснее, линия денег... тоже (годы НЭПа). О-о, какие волнения, когда тебе было лет тридцать пять-тридцать семь (коллективизация) и так далее. Интересно, что когда я потом объяснял нехитрую структуру своего гадания, основанного на обычных исторических фактах, люди не верили, убежденные, что «жид все может». Вот это странно: ненавидят евреев, а поклоняются еврею, понимают, что еврей вреда не сделал, а на него все равно катят напраслину. Наивные люди. До ужаса.

Как-то один веселый коридорный, распахнув широко дверь, возгласил: «А-ну, дождались. На волю! Выходи все с вещами!». Боже, как тут все засуетились, завозились. Иные стали давать друг другу адреса, чтобы запомнили, другие давать какие-то наказы... Через минуту надзиратель вновь распахнул дверь; «Собрались?!».

— Собрались!

— Марш в баню!

Федя очень любит слушать мои рассказы о пребывании в плену, о немцах. Иногда я копирую ему своих старых знакомых — барона, фон Бляйхерта, как он ходит, как садится на мотоцикл, как едет верхом. Копирую старых хауптманов, с которых уже песок сыпался, вроде коменданта Войсковиц Штарке, а то и генерала Хайнрихса, как он «по пальцам» честь отдавал и так далее. Эти мои представления любят смотреть и вся камера. Помаленьку свой «картинный репертуар» я пополняю и нашими корпусными, надзирателями, начальником режима Чалым; как он глядя в потолок, придирается к чистоте пола, шаржирую медосмотры и нас, доходяг, на шмоне и медосмотре. Некоторым не нравится такая «самокритика», но большинство в восторге. Интересно поглядеть на самих себя со стороны. Неплохо работая с фиктивными предметами, я показываю как чиним брюки, обнаруживая бесконечное число дыр, как сукаем нитки (без ниток) и так далее.

Как-то, когда я показывал с несуществующими иглой и нитками, процесс зашивания безнадежно дырявой одежды, сидя на верхних нарах, вдруг дверь резко отворилась и вбежал надзиратель:

— Давай иголку!

— Какую?

— Какой шил только что.

— Да я же просто показывал.

— Не ври! Давай иголку. Сейчас акт составлю.

Тут за меня вступилась вся камера. Мне пришлось продемонстрировать коридорному еще раз процесс работы с фиктивными предметами.

Он вышел, явно сконфуженный, но не уверенный, что ошибся и потом, мы заметили, несколько раз все заглядывал в глазок. Но я уже не «шил».

Иногда по камерам ходит приезжая комиссия. Золотопогонники, важные, надутые, презрительно глядят на нас, выстроившихся по сторонам камеры у нар. Заходят. Все сверкает чистотой. Только мы «сверкаем» лохмотьями.

Пройдя несколько шагов по камере, Комиссия останавливается. Один из приезжих спрашивает: «Какие есть жалобы?». Мы понимаем: жалоб быть не может. Но вопросы...

— Скажите, пожалуйста, нам разрешат переписку?

— Пока нет.

— А когда разрешат?

— Будет видно.

— Как бы хлеба немного прибавили. Голодно.

— Сколько положено, столько получаете. Есть еще вопросы?

- Пообносились мы...
- Не голые. В баню водят?
- Водят.
- Кипяток дают?
- Дают.
- Кипятку хватает?
- Хватает.
- На прогулку водят?
- Водят.
- Так чего вам еще надо?

Члены комиссии угодливо улыбаются остроумному начальнику, задававшему вопросы и отвечавшему на них, и удаляются. Слышно как они ходят по другим камерам.

Подумать только: едет несколько больших начальников, офицеров МВД или КГБ из Москвы в Иркутск, чтобы задать несколько пустых вопросов, ничего не сделать и ничего не решить. Командировка-прогулка. Их везде с почетом встречают, угощают, поят, ночуют они не на нарах. Ездят не в общих вагонах. Кто все это оплачивает?

25. ПОЭЗИЯ ФЕДИ. КОРПУСНЫЕ

Сколько и до и после централа, в тюрьмах и лагерях, приезжало таких высоких комиссий, всегда их полномочия и диалог с ними носили характер вышеприведенного.

Жаловаться на что-либо, конечно, бесполезно. Комиссия уедет, прежнее начальство, включая надзирателей, останется. Только обозлится, и, естественно, найдет повод вымотать душу каторжанина или зэка. Все это давным-давно знают и понимают. Поэтому крупному начальству задают мелкие вопросы. И то не на все оно ответить может.

Иные коридорные надзиратели отличались вредностью. Впрочем, что с них спрашивать? Люди необразованные, неспособные к умственному труду, а для физического — ленивые и нерасторопные, они привыкли, что все за них делают заключенные. Им даже дома готовить обед не хотелось, особенно, если жены не было. Нередко, выходя на прогулку, мы ощущали вонь винного перегара от вчерашней попойки у выводящих надзирателей; часто видели через щель в кормушке как тот или другой надзиратель выуживает черпаком из большого бачка куски рыбы. А тогда в баланду шла самая дешевая рыба — байкальская горбуша. Ею, когда она начинала пахнуть, подкармливали нас, питомцев тюрьмы. Горбушу кидали в баланду и даже по кусочку давали к утренней пайке, на завтрак.

С детства я не любил рыбу. Помимо прочего, ребенком я подавился рыбной костью и надолго запомнил испуг, охвативший при этом маму. Но в центре я ел рыбу с костями и, простите за откровенность, если на полу лежала приличная рыбья кость, я тоже не брезговал за ней нагнуться...

А Федя, без бумаги и грифеля, сочинял стихи. Он читал их мне. Некоторые были посвящены Кавказу. Помню стихотворение о буре в горах, «над седым Кошем». Одно стихотворение было символического плана. Оно мне понравилось и я тогда же выучил его. Теперь я могу сказать, что оно не без изъянов, особенно первое четверостишие:

«Луна цедила свет сквозь решето
Тесьмой задернутых окон;
Я стиснул челюсти до скрежета
И раздавил зубами стон.
Как будто в огненной короне я
Лежал, метаясь, сам не свой
И мрачно скалилась ирония
Над утомленной головой.
Ломая волю, мысли комкая,
Она шептала: «Ты устал?..
А где же труд и слава громкая,
И твой картонный пьедестал?»

Или, оставшись за подмостками,
Ты забываешь про борьбу,
Когда тебя руками жесткими
Прижмут к позорному столбу?
Или опять шагами робкими
В простор полей и мрак лесной
Уйдешь запутанными тропками,
Чтоб снова встретиться со

мною?..»

Но тьма растаяла. За окнами,
Затмив неровный блеск свечи,
Тянулись бледными волокнами
С востока первые лучи.
Земля ловила ласки жгучие
И шар кроваво-золотой
Вставал над розовою тучей,
Сияя строго красотой.
На юге горы темносиние
Надели утренний наряд
И их изломанные линии
В дали сверкают и горят.
Смотрю — и мне еще не верится,
Что с дальних гор в табачный

дым

Спустилась дивная соперница
Моим терзаниям ночным.
Привет тебе, мечта сияющая,
Не можешь с тьмою ты дружить.
Ночь позади теперь и я еще
До новой ночи буду жить».

Я не берусь судить о всех достоинствах или недочетах этого стихотворения. Но, учитывая, что оно не написано, а создано без карандаша и бумаги в условиях режимной тюрьмы, мне кажется, оно свидетельствует о несомненном таланте автора, которому тогда минуло всего двадцать два года. Из них — полгода на фронте и более двух лет в заключении.

Но Федя сочинял не только отвлеченные от нашей жизни стихи. Запомнилась его язвительная «Ода». «На смерть надзирателя».

«Пятнадцать лет в дверной

глазок

Смотрел ты зоркими очами,
Плевал от скуки в потолок,
Гремел железными ключами;
Пятнадцать лет твои уста
Звучали матом или ложью —
Ты гнул и в Бога, и в Христа,
А иногда и в мать божью;
Пятнадцать лет твой чуткий нос
Разоблачал секреты наши.
Но обонял не запах роз,
А мокрых тряпок и параши;
Пятнадцать лет ты делал шмон,
И знали мы, твои холопы,
Что ты не отвернешься вон,
Глядя в упор в худые жопы;
Пятнадцать лет, творя грехи,
Ты со своим начальством вкупе
Ловил кусочки требухи
В вонючем арестантском супе.
И так еще пятнадцать лет
Мы лицезреть тебя могли бы,
Но ты — случайно или нет,—
Увы, объелся тухлой рыбой.

Зловоньем тяжким посемену
В тот день наполнилась вся
зона...

Оставил верный страж тюрьму
Во цвете лет в разгар сезона.
Ты умер и узнали мы,
Что труп твой, черный, словно
деготь.

Ассенизаторы тюрьмы
Четыре дня боялись трогать.
И ныне, если ночь тиха,
Твой призрак будит тьму ночную,
Но, внемля крику петуха,
Бежит в канаву выгребную».

Полагаю, это «Ода» дает понятие о нравах многих надзирателей Александровского централа и степени их порядочности.

Все ли были такими? Боюсь утверждать. Корпусные, они были старшими сержантами и сержантами, вероятно, выбились из рядовых надзирателей. Фронта и надзиратели и корпусные за редким исключением не нюхали. Жители прибайкальской глуши, они верили всему, что им рассказывали политработники о преступлениях тех, кого они призваны были охранять, за кем бдительно следили.

Сперва вся служба централа отличалась крайней суровостью и свирепостью. Но постепенно и надзиратели и корпусные начинали убеждаться, что не так страшен черт, как его малюют, что заключенные не такие уж страшные люди, а о их преступлениях прокуроры знают, наверное, лучше, чем они, надзиратели. Время накладывало также отпечаток на поведение охранников. В большинстве они были, как говорится, крохоборами. Карточная система, царившая тогда, недостатки снабжения, перебои с продуктами — все это способствовало тому, что тюрьма или лагерь всегда превращались в кормушку для начальства и всей обслуги, вольнонаемного персонала. Ведь та же баланда, которой так не хватало нам, шла на откормку свиней, содержащихся в поселочке; тех самых, чей предсмертный визг нам безошибочно сигнализировал о прибытии комиссий из центра...

Среди старых корпусных колоритной фигурой был Горский, мы его называли «Гроза», так как первое время он отличался беспощадной суровостью. Он входил в камеру на поверку с дымящейся цыгаркой в зубах, быстро окидывал взглядом выстроившихся каторжан, резко и веско делал замечания и уходил, кинув обычно «на прощанье» какое-нибудь замечание, и часто уже у двери в ответ на просьбу давал кому-либо из дежурных недокуренную цыгарку. Сажал ли он по своей инициативе в карцер? Вероятно, первое время сажал. Блатные боялись его, так как ни в каких сделках с ними он не был замешан и, если узнавал, что кто-то ворует, то виновника без обиняков отправлял в карцер. Первое время мы никогда не видели улыбки на его лице. Но постепенно он стал мягче, даже взгляд смягчился. Конечно, и он мог отправить в карцер за найденный ножичек или «ксиву», не говоря уже о «коне» (записка или малюсенькая передача из верхней камеры в нижнюю, спускаемая на нитке через открытое окно). На его дежурстве драчуны, как правило, притихали. Знали: не спустит.

Другого корпусного я не запомнил, как плохо запомнил и корпусного казаха. Но в конце сорок пятого появился корпусной небольшого роста. Старший сержант — фронтовик. Прозвали его «скокивас»: он, заходя в камеру на проверку, всегда спрашивал: «Скоки вас» (сколько вас?)? Шел он стремительно сквозь строй стоявших каторжан; лицо его было доброе, открытое. Не помню, чтобы он ругался. А докурить оставлял часто.

При выдаче утреннего хлеба корпусные, как правило, присутствовали. При раздаче дневной и вечерней баланды обычно надзиратели оставались бесконтрольными, и черпали из бачков как попало, ленясь время от времени помешивать баланду. Получалось, что первые десятки мисок были наполнены одной жидкостью, а последние — «сама гуща».

При таком положении нередко вспыхивало недовольство и иногда надзирателю приходилось даже принимать первые, им выданные миски обратно и заново наливать их, уже размешав содержимое бачка. В каждом таком бачке вмещалось около десяти ведер баланды. Таскать их по огромному коридору от дверей одной камеры к другим было нелегко. Не всегда под рукой оказывались эки-бытовики, приносившие из кухни баланду (кухня и баня находились во дворе).

По числу находящихся в камере к ней сперва приносили глиняные миски и ставили на пододвигаемый снаружи дверей столик. Затем придвигали бачок с баландой. Дежурный, открыв кормушку, начинал раздачу. Одной рукой он брал миску, другой — с черпаком — наливал ее и подавал в кормушку. Здесь дежурный принимал миску и передавал другому дежурному, а тот уже относил ее на нары туда, где в этот день начинали получать пищу (на все дни камера сама устанавливала у себя распорядок, когда, с какого конца) с нижних нар или с верхних, справа от дверей или слева, от окон ли (будет вестись приемка пищи). Дежурному, принимавшему миски с супом, помогали остальные трое — дежурили по четверкам, — чтобы успеть разносить. Дежурный, принимая, ставил миски на пододвинутый стол, так что, если один из дежурных не успевал вернуться за следующей миской, это обязательно успевали второй или третий дежурные.

Бывало, что мисок не хватало для данной камеры: не успели ополоснуть или вернуть миски из другой, мало ли может быть причин? Тогда, выдав сперва десятка три мисок баланды, дежурный делал перерыв, пока не поднесут остальные миски. Обычно при таком положении удавалось обсчитать дежурного и закосить несколько мисок, до пяти-шести. Нередко раздатчик сам в заключение давал дежурившим добавку — от одной на всех до четырех мисок, по миске на каждого. Все зависело от наличия баланды и настроения раздатчика. Порой, он сэкономив на предыдущих камерах, недоливая, чтобы хватило на все, накапливал в бачке столько, что давал даже шесть мисок на четверых! Но такое случалось очень и очень редко. Обычно давали на всех дежурных одну — две миски баланды, а то и ни одной. Такое положение продолжалось подчас неделями и дежурить становилось невыгодным.

В каждой камере были слабые, а то и больные. Они предпочитали договориться с кем-либо, чтобы тот за них подежурил. Конечно, не безвозмездно. Нередко за замену брали полпайки, а то и целую, в рассрочку. Особенно дорожали замены, когда подолгу дежурным «не обламывалось» добавок от надзирателей. Говорят, в тех камерах, где был Мишель, успевший и тут привлечь некоторых надзирателей, сбыв им вещи, выменянные им у каторжан, добавки давали щедрее и, в первую очередь, самому Мишелю. Он не забывал своих товарищей из других камер и нередко умел уговорить раздатчиков подкормить, находившихся в других камерах, «Кузнеца», Адушкина, может быть, еще кого-либо из уголовного мира. Ему же, чуть он появлялся у кормушки, надзиратели, если рядом не оказывалось корпусных, безапелляционно давали самую густую миску с баландой, а то и две-три, если это ему требовалось для его каких-то махинаций.

В нашей огромной камере, где находилось около ста человек, Мишеля не было, а Борисова, как стукача, надзиратели сами побаивались и потому никаких льгот, кроме редких добавочных мисок дежурным, одну — на четверых, а то и без этого, не доставалось.

Не помню уже по чьему предложению я начал рассказывать историю древней Греции, древнего Рима, историю России. Слушали не хуже, а некоторые даже лучше, чем романы. Мне же при моей слабости рассказывать это было легче. Тут я не затрачивал тех эмоций, того жара, как при исполнении художественных произведений. Да, да при исполнении. Дело в том, что некоторые эпизоды романов, диалоги и даже сцены, я разыгрывал эмоционально в лицах. Все мои рассказы были живыми, сделанными доступно той аудитории, которая была передо мной, которую я знал. Грешен, подчас я прибавлял в романах детали, каких там вовсе не было; так в «Принце и нищем», помню, описывая обед Тома Кенти, очутившегося во дворце, я перечисляя блюда (выдумывал, конечно), я заставил Тома фаршмачить по-нашему,

по-тюремному, чем вызвал восторг камеры и недовольство ряда фаршмачников, к которым тогда относился сам тоже. Вопросы, связанные с едой и употреблением пищи у вечно голодных жителей централа, не имевших никаких культурных развлечений или возможностей отвлечься, привлекали особый интерес и внимание. Если бы среди нас оказался настоящий повар какого-либо ресторана, его бы заставили до одурения рассказывать о приготавливаемых блюдах пока сами не захлебнулись слюнями. Мне этот «онанизм» был чужд. Я терпеть не мог разговоров о еде. Федя и Жорик тоже с моего прихода в камеру, во всяком случае, перестали прислушиваться к извечным проблемам «калорийности», сытности и т. п. Мы могли говорить о многом другом. С Жориком мы вспоминали любимые арии из опер и оперетт. Федя, ранее игравший на гитаре, как и Жорик, обладавший отличным музыкальным слухом, тихонечко напевал романсы. Все это делалось тихо-тихо и все же раздражало иных сокамерников.

— Вот, опять распелись. Из-за них чего доброго, прогулки лишат (будто все на нее так стремились) или добавку дежурным в обед не дадут. А ну-ка, потише там, вы, интеллигенты. — Приходилось замолкать. Но, поверьте, напевали мы еле слышно, чтоб только друг друга слышать, напомнить о той или другой арии, увертюре, песне, романсе, мелодии. Однако, в свои театрализованные рассказы я нередко вставлял своеобразную мелодекламацию или нечто вроде пения. Рассказывая «Три мушкетера», я обязательно находил возможность вставить, тихонько, но отчетливо напевая, песню из пьесы Михаила Светлова «Двадцать лет спустя» и пританцовывая.

«Трусов плодила наша планета,
Все же ей выпала честь:

Есть мушкетеры, есть

мушкетеры,

Есть мушкетеры, есть!»

Насколько помню, пересказ знаменитого романа Александра Дюма я начинал именно с этой «музыкальной заставки»

Когда мое напевание (петь, конечно, не разрешалось) органично входило в ткань пересказа никто меня не одергивал. Так ввел я известную арию Германа «Что наша жизнь? Игра!» в пересказ пушкинской «Пиковой дамы», а исполнение «Марсельезы» на французском языке в пересказ «Пармской обители» и так далее.

Лихо исполнял я «Казначейшу» и весьма неприличную поэму Лермонтова же «Петергофский гошпиталь», не соблюдая многоточий... В этом смысле куда благополучнее был Пушкин: в «Гавриилиаде» и «Царе Никите» все было ясно и без многоточий. Читал я и монолог Барона из «Скупого рыцаря», и всего «Моцарта и Сальери» за обоих персонажей, и многое другое. Выступая перед притихавшей камерой, я забывал о голоде, обидах, о своей слабости и недомоганиях. Помню, как Федя, после того, как я с демонстрацией отдельных приемов пересказал один старый американский рассказ, вычитанный мною еще во «Всемирном следопыте» за 1929 год, о боксере, Федя сказал: «Если б ты, Сашка, так дрался, как ты показываешь, когда на тебя набрасываются, тебя бы никто не посмел трогать». Кстати, в том рассказывании я прибавил американскому боксеру еще одну победу, ранее не предусмотренную никаким автором: над Максом Шмеллингом, знаменитым немецким боксером, чемпионом мира, победившим Джо Луиса, негра-чемпиона. Этот Шмеллинг, между прочим, в войну был в парашютных войсках вермахта и участвовал в операции по взятию острова Крит, о чем я вычитал еще находясь в плену, в немецкой прессе.

Федю и меня беспокоил ход войны. Мы ничего о нем не знали. Верить тем глупостям о «взятии японцами Читы» и «Войне с США», которые время от времени появлялись на стенках прогулочных двориков, не хотелось.

26. БОЛЬШОЙ ДЕНЬ

Не знаю, как другие, но Федя и я болели за нашу армию, за ее успехи. Полагаю, многие из камеры также были душой на стороне Красной Армии. У некоторых сыновья служили в ней, с ней связывались все же более стабильная жизнь, чем при оккупантах. Не последнюю роль играл страх: не сомневались, если японцы подойдут к Иркутску — нас всех перестреляют. То же будет в случае явного поражения СССР. А если войну выиграет СССР, не исключено, что нас амнистируют, распустят по домам, скажут: достаточно вы натерпелись, идите и честно работайте. Э-эх, мечты, мечты... Но вернемся к баланде.

Это было двадцатого сентября сорок пятого или шестого года. Я чувствовал себя плохо, а наступала моя очередь дежурить. Федя заменить меня из-за своей беспомощной руки не мог. У Жорика просить о замене было просто неудобно: куда ему, хромоту? Он и за себя-то старается всегда выставить другого. Сделает ему весы или еще что — и тот соглашается. Время было неважное: уже несколько дней добавок дежурным надзиратели не давали или давали мизер: одну «парашу» на четверых. Замечу, что «параши» называли мы также большие глиняные миски для баланды. Глиняные миски, вероятно, делали в гончарной в самом центре. Точно знаю, что там была пимокатная мастерская, где делали валенки. Работали там эки. В миску «парашу» влезали полторы порции, а в обычную миску — едва одна. Обычные миски часто недоливали, чтобы не обжигать рук при раздаче, а в «параши» всегда попадала, уж во всяком случае, целая порция, черпак. Дежурные для добавки всегда приготавливали заранее «парашу». Если это было после шмона, то пока шла раздача быстро сливали пару порций в две-три миски (потом разделят), чтобы освободить две-три «параши» для добавки. На шмоне, конечно, все найденные в камерах миски забирали. Поэтому я и ввел настоящее пояснение. Если же в камере имелись свои свободные «параши», дежурные, получив все положенное, протягивали через кормушку дежурному «парашу» с просьбой «налить маленько», что тот и делал. Но не всегда.

Еще с вечера я начал хлопотать о замене меня на дежурстве. Но все, к кому обращался, даже те, что любили дежурить, безнадежно разводили руками: «Добавок не дают. Чего ж я буду пол драить? Давай полпайки — подежурю, так и быть».

Но отдавать полпайки не хотелось. Так и не добившись замены, я, «артист», несмотря на отвратное самочувствие, с утра приступил к дежурству. Вынес с другими дежурными парашу; вымыл пол. А это была непростая операция: вдруг Чалый нагрывает?.. Вымыл большой стол для приема хлеба. Но хлеб доверили получать не мне. Дело в том, что получавшему надзиратель нередко мог дать соблазнительную горбушку вместо копыта или, не дай Бог, тумбы, а потом и еще мог, если ящик с хлебом кончается, вытряхнуть из него горсть крошек и дать дежурному получателю, то есть, старшему дежурному: «На!» Короче, на утренних священнодействиях я играл весьма подчиненную роль, а при мойке пола меня сплошь и рядом подгоняли, то торопили, то требовали более тщательно мыть, то еще что.

Дежуривший надзиратель был угрюмым типом, смотревшим на нас весьма недружелюбно, чтоб не сказать враждебно.

Утром он ничего не добавил дежурным. В обед тоже. Дежурные злились.

— Вечером будешь ты получать,— заявили они мне.— Один хрен, не дает ничего. Может, ты что выклянчишь. Ты же еврей. Попробуй, — и вот меня поставили у кормушки получать баланду на всю камеру, забыв о своем гоноре. Вот ведь парадокс. Пока все как-то сносно, еврею — кукиш. А как тревога — пусть еврей попробует... Дежурили со мной неважные мужички. Кое-кто из них даже поддразнивал меня, произнося русские слова с подчеркнутым еврейским акцентом. На это я обычно реагировал, говоря: «Что ты меня дразнишь? Дай Бог, чтоб твои внуки и правнуки научились хоть наполовину так говорить или плакать по-русски, как этот жид, то есть, я». Не скажу, чтоб такие ответы успокаивали, но в них была правда. А говорили кругом по-русски неважно. Добрую половину населения камеры составляли белорусы и украинцы.

Итак, на получение вечерней баланды меня поставили у кормушки.

— Я буду считать, — предупредил я. — По-честному.

— Сам я буду считать,— отрезал надзиратель.— Тебе нечего.

— Нет, что вы? — ответил я.— Так же будет лучше. Вдвоем.

Он не ответил, размешал суп и начал подавать. Я принимал и говорил каждый раз, считая «одна, вторая...». «...Спасибо», «Видите, я считаю честно».

— Пятая...— считал, подавая миску дежурный.— Шестая...

— Пятая,— повторял я на шестой.— Та-ак, шестая... К одиннадцатой миске мне уже удалось его сбить со счета и закосить две миски. Дальше все пошло еще лучше. Сбитый со счету и с толку дежурный надзиратель, под аккомпанемент моего счета запутывался все больше и больше. Наконец, он катастрофически сбился.

Уже вся камера получила баланду, уже меня сзади осторожно подергивали за штаны: хватит, мол, а миски все шли и шли в кормушку уже без счета. В довершение всего надзиратель налил дежурным добавку — четыре «параши». А двадцать две миски я закосил! Всего же мы получили двадцать шесть! Полагаю, это был рекорд на весь централ.

«Закошенные» миски дежурные быстро относили в разные концы и ставили на нары. После того как закрылась кормушка, началась дележка. Каждому дежурившему досталось по шесть мисок и две «параши». Делили на четверых. Естественно, съесть сразу несколько литров баланды никто бы не мог. Дежурные стали делиться, каждый со своими друзьями. Я первую же миску отдал Феде, вторую Жорику, третью Водянку, четвертую дал разделить между Жуком и Курбаном. Себе оставил две «параши». Вся камера ликовала: такого еще никогда не было. Дал и еще кому-то. Оказавшись перед двумя «парашами», я, увы, поступил как глупая собака в притче о мясе в ведре (на дно полного ведра положили кусок мяса и дали собаке. Она вылакала всю воду, а как дошла до мяса уже не могла его осилить). По тюремной привычке я сперва выпил всю жидкость, весь супчик, а для гущи у меня уже не хватило пороха. Единственный шанс наесться не был использован.

Но еще не успел я усесться за трофейную еду, как дверь распахнулась. Разъяренный дежурный возопил: «Кто принимал суп?».

Я, облизываясь, слез с верхних нар, на которых к тому времени поселился неподалеку от Жорика и Феде. Остальные дежурные уже кивали мне головами: слазь, дескать, отвечай теперь.

— Я получал,— сказал я с самым невинным видом.

— Что ж ты не сказал, мать твою так..., что ж ты не говорил?!

— Как не говорил? — удивился я. — Я все время говорил.

— Что ты говорил, мать твою...?!

— Я говорил: «Спасибо, гражданин начальник». Я все время говорил «Спасибо».

Я притворился дурачком.

— Что ж мне теперь делать?! Ты сколько мисок закосил?!

— Я не косил. Я говорил спасибо.

— Мисок двадцать не хватает для другой камеры. — Возгласил надзиратель.

— Ого,— искренне удивился я. — Неужели так много?

Он не мог себе представить, что его обошли на двадцать шесть мисок. Он стал кричать, грозить карцером. Но я искренне удивлялся и, повторяя, что я же его благодарил, продолжал стоять с невинным видом.

Кончилось тем, что надзиратель вышел, не солоно хлебавши. Сколько угодно порций он, все равно, без труда получит с кухни, сказав, что не хватило — и все тут. А там найдут сколько требуется.

Авторитет мой заметно поднялся. Кстати, к вечеру я себя стал чувствовать лучше, чем утром: хоть водой да набил брюхо. Гущу на дне, которую я уже не мог осилить, я тоже отдал Феде и еще кому-то.

— Я знал, что ты мне первому дашь миску, — довольный, говорил Федя, расхаживая со мной после ужина вокруг стола.— Я так и думал.

Обсчет надзирателя произвел такое впечатление, что даже самые отъявленные мои недоброжелатели с почтением поглядывали на жида, сумевшего так объе... (скажем, объегорить) коридорного.

Это был один из ярких эпизодов моей жизни в Александровском центре. Увы, такие «яркие эпизоды» запоминались не только мне. Среди серого однообразия тюремной жизни это были События.

27. ПОБЕДА

Весть об окончании войны в нашу камеру пришла с маленьким опозданием: через год с лишним.

Там, в Александровском
центrale,

За толщей стен глухой тюрьмы,
Мы только через год узнали,
Что День победы отмечали,
Тот день, который приближали
Когда-то, в сорок первом, мы.
За немотой железной двери
Терялась дней живая нить,
И в той угрюмой батисфере —
Кто, как сумел бы слух

проверить,

Чтобы и нам, хоть в малой мере,
С народом радость разделить?

Первую весть об окончании войны нам с хитрым видом шепнул новый толстяк-банщик, примерно, через год после Победы. Затем кто-то из стукачей принес от «кума» этот слух. А 3 сентября сорок шестого года дежурный надзиратель проговорился, когда его просили вызвать врача, сказав, что никто не придет, так как все празднуют Победу и на вопрос, над кем, ответил: «Над Японией». Значит, и с ней воевали. Вероятно, в других камерах, где был Мишель или Корсунский, умевшие поддерживать связь с вольнонаемным составом тюрьмы, это известие уже не было новостью, но в нашей камере где почти все были «старожилами», это стало сенсацией. Кроме того, нам шепнули о смерти Калинина. Последнее огорчало: иные полагали, что старичок с седенькой бородкой, благообразный большевик, может быть заступником за бедных заключенных, благо по Конституции вроде обладает правом помилования или смягчения наказания.

По правде говоря, Жорик, я и Федя давно подозревали, что с Гитлером покончено. Но, что так быстро покончено с Японией?— никто не ожидал.

Новичков в централ тогда еще не доставляли. Редко-редко население централа пополнялось каким-нибудь небольшим этапом. Во всяком случае, после нас, вывезенных из Иркутска в январе, туда еще добавили этапы из Иркутска же не намного позже. А потом, вероятно, просто добавляли помаленьку...

Камеру перевели на слабосилку и в этом все увидели результат окончания войны. Ждали новых смягчений. Но с ними не торопились. Время от времени в камеру вталкивали кого-нибудь и, пока с ним хорошенько не познакомились, всегда полагали, что это очередной стукач, раскрытый в другой камере, а потому отправленный к нам. Будто у нас нет своих Хитрука, Борисова и еще кого-нибудь, о ком еще не знаем. Таким образом к нам бросили очень высокого, по нашим понятиям прилично одетого человека, о ком уже кто-то слышал, что это Понежа, стукач, бывший каким-то известным украинским националистом, чуть ли не сподвижником некоего Бандеры.

Новичку было тридцать восемь лет. Он улегся на нижних нарах недалеко от нас, напротив. Он не был так истощен, как другие. Мы с Федей решили с ним познакомиться, благо он выглядел довольно интеллигентно. Лежал он рядом с Егором Ильичом Жуком, а с ним мы были в хороших отношениях.

Понежа принципиально разговаривал только по-украински. Рожденный в Киеве, я владел украинским неплохо. Однако, через некоторое время, когда Понежа убедился, что имеет дело с довольно образованными людьми, он стал порой переходить на русский, владея им вполне прилично. Он был учителем, убежденным сторонником отделения Украины от России. Арестовали его уже после нас, но еще до окончания войны. Понежу иногда вызывали к «куму». Он говорил, что его вызывают в связи с продолжающимся следствием: по его делу проходило много

людей и ими-то интересовались. Приходил Понежа от кума всегда очень расстроенный и без табака. Постепенно мы с ним познакомились поближе. Мне не верилось и не верится, что он стал стукачом. Слишком убежденным он был украинским националистом и презирал не просто тюремное начальство, но и вообще все русское. По кругозору и степени образованности он не выходил за рамки понятия о школьном учителе. Конечно, украинскую литературу он знал лучше нас. В остальной же «плавал», подобно многим. Понежа больше всего переживал за свою семью. У него остались на воле молодая жена и двое маленьких детей. О них он не мог вспомнить без слез. Может быть, на примере Понежи я, который считал, что из-за еврейского происхождения, мне значительно тяжелее, чем другим (конечно, доля истины в этом есть), я понял, что людям семейным, отцам, в частности, в тюрьме не легче, чем мне, сироте, связанному с волей лишь обилием воспоминаний о потерянной любви, о друзьях, и страстно любимой работе в театре. У нас в камере Понежу не трогали. Из разговоров с ним я понял, что к нам его заслали не как стукача, а потому, что его, заподозрив в стукачестве, жестоко избili в другой камере. Так до сих пор и не знаю: был он стукачом или нет?

Но еще до прихода Понежи, по-моему, произошло одно из главных событий в моей центральной жизни.

После избиения фальшивомонетчика Борисов стал «королем камеры». Победоносно расхаживал он вокруг стола, нарочно задевая плечом кого-либо из других гуляющих, отпускал весьма неостроумные замечания по всякому поводу и без повода; кого-то еще избил, чтоб помалкивал, и так далее. Ни у Феди, ни у Жорика, ни у меня не возникло потребности искать с ним контактов. Его побаивались — и все тут.

Случилось это, когда я только-только, «с помощью» Бабая выздоровел от воспаления среднего уха, и, желая как-то обмануть свой голодный желудок, стал фаршмачником, то есть, утром ничего не ел, а всю пайку, бережно носимую весь день за пазухой (иначе сопрут) съедал за обедом. Крошил хлеб в баланду. Она взбухла и я с понятным аппетитом ел. Выглядело все так: после раздачи обеденной баланды человек двадцать «фаршмачников», как я, торжественно усаживались на своих местах на нарах и «священнодействовали»: ели.

Ели, конечно, медленно, чтобы продлить наслаждение. Это всегда очень действовало на нервы «живоглотам». Конечно, наиболее здравомыслящие говорили, какое кому дело до того, кто и как ест свою пайку. Но, повторяю, жизнь каждого проходила на глазах у всех и «фаршмачники», как, впрочем, и «резинщики» (в меньшей степени) подвергались нападкам со стороны «живоглотов». К последним относились не только блатовитые, но и постоянные дежурные, нанимавшиеся мыть пол вместо других в надежде на получение лишней миски баланды, чтобы как-то утихомирить голод, постоянно угнетавший каждого. Бывало, кто-либо из «живоглотов» открыто выражал свое возмущение и даже пытался поторапливать с употреблением пищи какого-либо «фаршмачника» или беззубого старика — «резинщика». Но пока дело ограничивалось лишь словесными перепалками, спорами о том, что же лучше из способов употребления пайки и остротами.

После случая с Бабаем я перешел на верхние нары неподалеку от своих друзей. Конечно, когда я «фаршмачил» тут, на виду у всей камеры, это было уже достаточно «театрально», как, впрочем, и «фаршмачиванье» остальных, из которых многие также селились на верхних нарах.

И вот как-то, когда я разложил платочек, накрошил хлеб и положив его в миску с жидкой баландой, начал есть, Борисов, расхаживавший по камере в дурном настроении, начал что-то плести в мой адрес.

Я не обращал внимания и, молча, продолжал обед. Борисова некоторые подхалимы активно поддерживали, выражая также возмущение «поведением жида», который должен быть благодарен за то, что ему вообще дают здесь есть пайку и не отнимают ее. Так как подобные реплики я уже слышал не раз, то спокойно (относительно, конечно), продолжал трапезу.

Вдруг, выкрикнув нечто вроде: «Когда же мы, наконец, избавимся от этого жида!» — Борисов неожиданно подскочил ко мне и сбросил меня с

верхних нар. Моментально кто-то встал у глазка, чтобы коридорный не видел, а некоторые стали морально поддерживать бандита, говоря: «Конечно, так ему и надо. Так ему! Так его!». Я уже писал, что никогда, несмотря на явный перевес в силах противника, не оставлял рукоприкладство без сдачи, хотя был слабее слабого. И тут, свалившись, как мешок с нар, я вскочил и, как мог, ударил обидчика. Конечно, это было ему нипочем и он с звериной жестокостью бросился на меня. Я вновь попытался его ударить. Но, что могли ему причинить мои слабые удары?..

И тут с нар быстро слез Федя.

«Да до каких же пор, мы, русские, будем терпеть издевательства этого бандита!» — Воскликнул он и со своей единственной рукой бросился к Борису.

Никогда еще за меня так никто не заступался. Я уже считал себя обреченным (это было также вскоре после попытки вскрыть себе вены). Очевидно, «индивидуальное избиение» я бы перенес, как раньше переносил. Но тут дело касалось Федей и его благороднейший поступок, вмешательство, о котором не имела понятия камера, всегда, дававшая возможность бандитам поодиночке расправляться с негодными им людьми, сразу взбудоражил меня.

Себя я не жалел. Но Федей!.. И вдруг с неожиданной для самого себя прытью я бросился на Борисова. Теперь он имел дело с двумя и вдруг, оторвавшись от нас, побежал к парашам.

Возле параш всегда стояли толстые палки или брусья, на которые садились при исполнении «тяжелых обязанностей». На этих же недлинных, брусках толщиной примерно в пять-семь сантиметров выносили неполные параша (для полных давали более толстые палки из коридора).

Теперь и Борисов и я мчались к этим брускам возле параш. Вероятно, увидев мое лицо (а я понял, что при драке надо хватать все, что под руку попадет. Мои «благородные драки» кулаками здесь не проходили...). Водяноко быстро убрал самый толстый «шутильник» (так назывались эти палки).

Я успел раньше Борисова. Схватил «шутильник» и несколько раз ударил его по голове. Он упал. Все еще соблюдая «рыцарские правила», я стоял над ним, ожидая, когда он поднимется. Из головы его шла кровь. Мы были у самой двери.

Я стоял над ним с обломком «шутильника» в руке, отыскивая глазами, где второй, более увесистый «шутильник», так как свой сломал о голову негодяя.

Ко мне подбежал Федя и попытался меня удержать. Но тут Борисов шевельнулся и с громким воплем бросился к двери, царапаясь в железо, и крича: «Убивают!».

Дверь стремительно отворилась (не ручаюсь, что тюремщик не наблюдал за поединком) и надзиратель выволок Борисова в коридор. Больше мы его не видели. Впоследствии, мне говорили, что мой «крестник» находился на шахте Воркуты, что на его голове осталась пожизненно такая «отметка», что, когда в составе культбригады я оказался на том ОЛПе, где он был, он даже побоялся пойти на концерт с моим участием, не то, что встретиться со мной.

Долго я сердился на Водяноко, убравшего более тяжелый «шутильник». Я бы убил Борисова. Но впоследствии все же решил, что Опанас поступил правильно: одно дело разбить голову, а другое — вовсе убить...

После «боя» мы с Федей победоносно расхаживали по камере. Все нас... поздравляли и уже с опаской поглядывали на меня... Никакого карцера не было. Вероятно, коридорные, зная нрав бандюги, сумели объяснить его «покровителю», что таков удел всех блатных, рано или поздно...

После этого поединка в централье, даже в других камерах, куда меня переводили, не помню, чтобы кто-нибудь меня тронул. Да и попытки острить стали куда реже...

Этот случай меня накрепко связал с Федей, хотя после того, как нас разлучили, мы так и не виделись до самой его смерти в 1993 году. Но мы переписывались и мне удалось добиться его реабилитации. К сожалению, это произошло незадолго до его смерти.

Был еще в камере интересный человек Будников. Средних лет. Под сорок. Он очень любил мои рассказы и, будучи верующим, очень жалел, что я атеист. Тем не менее, он, большой любитель истории и литературы, всегда хорошо относился ко мне и как мог защищал от дурацких нападков.

28. ЗА ЧТО ГИБНУТ ЛЮДИ

Фронт, плен и довоенный театральный институт. Они в моей памяти. Навечно. Единственное, в чем я лгу Феде да и другим — это то, что я закончил институт. Очень уж досадно. Тогда разрешили сдавать вперед и я сдал все предметы, какие разрешалось — историю театра, литературу, историю искусств, французский, еще что-то за весь курс института. Но не мог же я один сдать за весь курс танец, актерское мастерство, даже художественное слово, хотя последнее шло у меня очень хорошо. У меня не было ни одной четверки. Заранее знали: я — сталинский стипендиат. Мое фото висело в вестибюле института не первый месяц. Среди немногих я был стипендиатом. Пятерка по актерскому мастерству и высокая оценка исполнения роли Дорна в «Чайке» Чехова сделали меня бесспорным. Но я не мог остаться свидетелем войны и в числе первых подал заявление в добровольцы.

Я часто рассказываю Феде про лучшую пору моей жизни — учебу на актерском факультете; разыгрываю отдельные сценки, этюды. Не хочу верить, что моя жизнь в искусстве сцены закончилась и, как могу, продолжаю ее.

Все помню, помню. И проводы на фронт, и бои, и выход из окружения, и, конечно, плен. По дням и чуть ли не часам. Помню и то, что так больно помнить — допросы в контрразведке. Уже после моего самонаклепа, когда, в связи с перемещением штабов, контрразведка также приблизилась к линии фронта (весьма относительно, конечно), помню, как из корпусной контрразведки, где меня дополнительно «обработали» заместитель ее начальника и начальник, нас, подследственных, этапировали пешком дальше.

Конвоиры были неплохие ребята, но боялись с нами разговаривать. Мы шли пешком километров шестьдесят. Заночевали в пути в какой-то пустой избе. Мы шли по заснеженным недавним дорогам боев. У обочин валялись неубранные трупы, редко наших, а немцев — обязательно: проходящие должны были видеть потери врага... Помню, как под вечер где-то возле Котлов или Кингисеппа возле старинного здания то ли церкви, то ли какого другого, поблизости от мостика через овражек или речушку, у стены стоял огромный немецкий «Тигр». Повреждений на нем не различил: смеркалось.

Место было пустынное. Нигде никого, кроме нас, шедших под конвоем. Мы остановились на минуту. У самой дорожной обочины, вытянувшись, как по команде, лежали три немецких красавца танкиста. Рослые, стройные. Мертвые. Погибли они от наших пуль или гранат, или, когда они выпрыгнули почему-то из танка их тут же расстреляли? Не знаю и никогда не узнаю. Сапоги с них были сняты, а все остальное, включая меховые комбинезоны и теплые носки, пока оставалось нетронутым. Кто-то из подконвойных попытался стащить их с ног мертвецов. Но они так примерзли, что он только рукой махнул да и конвоиры начали поторапливать.

Я помню этих трех богатырей. Лица их были припорошены снегом. До сих пор у меня из головы не идут эти убитые. Молодые, красивые. Да, они несли смерть и потому сами приняли ее. Но, Боже мой, сколько же времени люди будут убивать друг друга во имя интересов таких же людей, как они, только более циничных?! Ведь у этих танкистов в Германии, наверное, были жены, дети, родители. А с них даже «эркеннунгсмарки» не сняли (опознавательные жетоны на случай смерти солдата) и много лет еще их будут ждать дома... Ждать, как ждут других, давно убитых и незарытых.

— Представляешь, какая радость там, на воле, — говорит мне Федя, когда мы узнали о победоносном окончании войны. — Неужели нам не смягчат наказания? Неужели мы не все искупили?

Нам очень хочется верить в смягчение участи. Жорик считает, что это пустые мечты. Но разум не хочет подчиниться бессмысленной жестокости. Где логика? В чем смысл: мы без пользы сдыхаем в безвестности; нас нужно охранять, кормить кое-как, но все же. Мы же ничего не делаем.

Да, мы инвалиды по истощению, по разным другим причинам, включая у многих возраст. Но эки инвалиды работают в пимокатной, пилят дрова, носят воду, где-то что-то делают. А нам запрещено. Подыхай тихо — и все. Как-то во сне я видел **Сталина**. Почему-то мы с ним встретились в Свердловске. Выглядел он, как на портретах, в шинели, немного усталый. Разговаривал я с ним довольно мирно и мне показался он не злым, не мстительным. Рассказываю сон. Толкуют и, конечно, в сторону освобождения: Сталин о нас думает...

29. ЧТО-ТО ПРОИСХОДИТ

Нет, что-то происходит. Вероятно, окончание войны действует на всех и на все. Нам выдают форму! Синие штаны и рубашки из какого-то немыслимо дешевого материала. Но, когда мы надеваем эти «костюмы», напоминающие какую-то смесь между спортивными и пижамами, мы сперва даже не узнаем друг друга. Мы становимся похожими на людей! Разве полученное это казенное «обмундирование» можно сравнить с тем лоскутным перештопанным тряпьем, какое мы носим?

— Вот теперь я вижу, что ты был артистом. — Говорит Федя, оглядывая меня в новой «форме». И сам чувствую: стройный, подтянутый (хочется носить новое с достоинством...), худощавый (доходяга), ростом немного выше среднего (175 см) я сам себе нравлюсь. Зеркал нет. Но мы смотрим с удивлением и удовольствием друг на друга и так же радостно оглядываем себя с ног до головы. Кое-кто сразу прячет обновку в мешок: дома жене показать, пофорсить в своей хате. Боже, до чего наивные люди, особенно, пожилые. Что они видели в жизни, «политики», «политические заключенные», «изменники Родины», «враги народа». ...В чем их идеалы? Цели, стремления? Для них коммунизм — это кабы шматок сала и хлеба краюха. Увы, не преувеличиваю. Таких едва ли не большинство. Я сам в коммунизм, конечно, не верю. Людям нужна какая-то вера, какой-то идеал. Но не лучше ли социализм? Пусть и он практически недостижим: всеобщая справедливость («От каждого по его способностям, каждому — по его труду»), но уже сам факт стремления к такому порядку — великое дело. Только неясно, с каким общественным строем, государственным устройством должен сочетаться социализм? Очевидно, только с демократией. А ею у нас никогда не пахло. Коммунизм — бред: «от каждого по его способностям, каждому — по его потребностям». Чушь. Это обман, это для дураков, легковверных и ленивых, надеющихся, что за них кто-то будет все делать. «По потребностям»... А я, предположим, дебил, ни на что не способный, а мне нужны и вино, и женщины, и икра зернистая, и роскошные апартаменты. А таких ведь будет порядком и их всех содержать?! Спекуляция на недомыслии — вот что такое коммунизм. Образец коммунизма — наше житье-бытье в тюремной камере. Всеобщее равенство, все голодные, все разутые и раздетые или все в одноцветных, безвкусно пошитых пимах одного покроя. И все довольны. Вот идеал коммунистического образа жизни. Почему-то Ленин называл партию социал-демократической, а не коммунистической. Вероятно, он предполагал разные варианты развития общества под общим идеалом социализма. Только и при нем творилось такое, что описывать трудно. Впрочем, должен ли он отвечать за все? Всегда «не так паны, как паненята» задают тон. Очевидно, и Сталин к нам относится куда лояльнее, чем наше начальство...

В камеру входит «Скокивас». В руках его несколько ученических тетрадей, явно разобранных по листкам.

— Вам разрешили переписку. (Восторженный вздох камеры).

«Скокивас» отсчитывает по числу находящихся в камере тетрадные листки и объясняет, как делать треугольнички-письма, как писать адрес, что можно и что не следует указывать в письмах.

— Чем короче и яснее, тем лучше. Тем скорее ваше письмо дойдет. —

Заклучает он. Заодно он дает дежурному несколько чернильных карандашей, точнее, их огрызков: они разрезаны на две-три части: чтоб больше было.

Волнение охватывает всех. А я писать не хочу. Мне писать некому. Родители мои давно умерли. Усыновивший меня брат покойного отца, дядя Борис, уже, наверное, давно ушел из жизни. Я видел его последний раз в сороковом году летом, приехав на каникулы в Киев. Дядя, которого выпустили из тюрьмы в августе тридцать девятого, переболев, оправился и снова работа в бактериологическом институте и в мединституте, снова работала его лаборатория на дому, и снова при нем была его верная сотрудница и настоящий мужественный друг, что она доказала, когда его арестовали, Адель Генриховна Скоморовская. Но уже тогда я обратил внимание сразу чуть приехал, что он ссутулился, ходил не так уверенно, как раньше, что вид у него был усталый даже по утрам. Теперь ему должно быть семьдесят четыре года. Но Киев был оккупирован. Неужели он смог пережить эвакуацию (где он был в те тяжелейшие года?), гибель лаборатории, всех книг, которые так любил, всей дедовской библиотеки?..

Да и цел ли дом в Киеве, где была наша квартира?

Каждый имеет право писать только на один адрес, только одно письмо. Федя пишет себе домой. Жорик мучительно припоминая что-то, тоже собирается писать, хотя толком не знает, куда?.. Есть и такие, как я, которые писать не хотят. Куда писать? Кому? Конечно, получить посылку с табачком и сухарями хочется каждому. Но, если посылать ее некому, как быть?

— А ты все-таки пиши. — Уговаривает меня Будников. — Я напишу. Вот очередь дойдет на карандаш (их не хватает) и напишу.

Ему хорошо. У него есть жена, дочери, уже взрослые. Его деревня на месте. А мне каково?

Чтобы как-то отвязаться от настойчивых уговоров моих благожелателей, я решил написать в Куйбышев (Самару). Там жил брат моей покойной матери, дядя Арон (Арон Яковлевич Цитронблат).

Это там, в Куйбышеве, закончив 81-ю школу, я решил выехать в Москву попытать счастья на актерском факультете. Дяде Арону ко времени разрешения переписки уже года шестьдесят четыре, он имеет шанс еще быть в живых. Писать маминной подруге, тете Гольде, в Москву бесполезно. Тете уже далеко за семьдесят да и Москва пережила в войну многое. Если писать, то только в Куйбышев дяде Арону. Но вообще-то шансов на успех мало...

Я написал письмо в Куйбышев и выбросил вопросы переписки из головы: зачем напрасно себя тревожить? Время пошло своим чередом. Никто в ближайшие недели ответов на письма не получал, других вестей тоже не поступало.

30. РАЗЛУКА

Федя и я были неразлучны. Много общих тем для бесед было у нас. Он живо интересовался театром, кино, а годы учебы в Ленинградском театральном институте расширили круг моих понятий об искусстве, о литературе; в Ленинграде я сдружился с писателем Федором Олесовым. Он жил в одной коммунальной квартире с тетей Верой, маминной младшей сестрой, и я часто бывал у него и его жены, интереснейшего художника-фотографа Лидии Григорьевны. Ее фотоэтиюд «В полете» (профиль девушки с развевающимися волосами) завоевал широчайшую известность. У Олесова я познакомился и подружился с поэтом Глебом Чайкиным, автором «Византийского ювелира» (поэмы), умершего молодым до войны. Познакомился у Олесова с Золотовским, автором книг о подводниках; с Эдуардом Жаровым, артистом, братом знаменитого Михаила Жарова. Свои литературные опыты читала мне Екатерина Михайловна Шереметьева, преподававшая у нас в институте художественное слово, как и Марья Васильевна Кастальская, непосредственно занимавшаяся этим предметом со мной. Было немало знакомых среди хороших артистов, искусствоведов, что способствовало моему творческому росту и гуманитарному развитию. О каждом из своих

знакомых или тех, с кем меня сталкивала судьба, как, например, с Ваграмом Папазяном, Бабочкиным, Блюменталь-Тамариным, Шаляпиной-Бакшеевой, Москвиным, Леонидовым, Зубовым, я мог вспомнить и рассказать. Безусловно, киевские и самарские знакомства (там я сблизился с хорошим артистом Оскаром Осиповичем Марковым, родственником моего друга детства Соли Ароновича, а также с врачом Львом Иосифовичем Гуриным, блестяще игравшим на своем юбилейном вечере роль профессора Мамлока, никак не хуже, чем в фильме). Но больше всего Федю занимали мои воспоминания о плене, о немцах, их поведении и психологии. Федя же мне рассказывал про свой родной Пятигорск, про Кавказ, его жителей, их нравы и обычаи, про историю этого удивительного края.

Но вот в камеру вошли врач, сестра и корпусной. Нам велели повернуться спинами и, осмотрев наши зады, врач сделал пометки и вскоре человек двадцать перевели в другую камеру, на слабосилку. Среди отоцавших оказался и я. Федя остался на месте. Мы простились. Навсегда.

31. АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

С Федей и Жориком я расстался как с самыми родными и близкими людьми. В той обстановке, в которой находились мы, настоящая дружба, а она с ними завязалась, была могучим подспорьем в выживании. Увы, больше мы не встречались. С Федей удалось еще два раза в централье через баню обменяться «ксивами», а с Жориком и этого не было. Так и теперь я не знаю и, верно, никогда не узнаю про судьбу маленького милого инженера из Харькова, благородного и образованного человека.

Описывать странствия по разным камерам (а их за три с половиной года пребывания в централье я узнал шесть. В среднем по полгода в каждой), значит, во многом повторяется. Только скажу, что самыми памятными остались страшная восемнадцатая, в которую я сперва попал, а потом камера, где был особенно долго и встретил Федю и Жорика. Что же было потом, после того как нас, группу доходяг, перевели в слабосилку?

Здесь, на этот раз внизу, в камере я встретил поистине замечательного человека, Александра Емельяновича Федченко, инженера, бывшего, как я понял, главного инженера Житомирской электростанции. Во время бомбежки, немецкой или советской, осколок раздробил ему бедро и одна нога не сгибалась. Он хромал и тоже, как инвалид, находился в централье. Конечно, не использовать таких специалистов, как он, преступление. Это был не только разносторонне образованный человек, но и благородный, принципиальный, мужественный и предельно порядочный. И все это сочеталось с добротой. Он как-то сразу принял участие в моей судьбе. Одним из первых он получил в камере посылку и, угостив всех табаком, не стал им спекулировать по образцу других, а сам будучи некурящим, распределил его поровну всем. Тут я на минуту прошу вообразить невообразимое, когда камера, в которой около ста человек, вдруг разом закуривает около сотни вонючих цыгарок разных сортов махорки и самосада (на прогулке курить запрещалось). Камеры почти не проветривались, разве тогда, когда все (что не всегда случалось) выходило на прогулку, то двери оставляли открытыми — вот и все проветривание.

Дым стоял сплошным густым туманом. Представляю, каково было редким некурящим?

Помню: новая врачиха, молодая, в сопровождении сестры вошла в камеру. Все, конечно, выстроились по сторонам у нар. Это был первый этаж. Врачиха глянула на стены и произнесла, обращаясь к сестре: «пеницилум глаукум».

— Пеницилум глаукум, — очень мягко и тактично поправил Александр Емельянович (плесень).

— Вы врач? — оживилась врачиха.

— Нет, просто в гимназии я изучал латынь, — скромно ответил Федченко.

С невольным уважением медики посмотрели на инженера. Ему тогда, в сорок шестом году было пятьдесят пять или пятьдесят шесть лет.

Высокий лоб. Какое-то удивительно светлое выражение больших глаз. И во всем лице благородство. Достоинство. В камере его поневоле уважали все, насколько это позволяло их воспитание. Мне доверительно Александр Емельянович говорил, что и ему, увы, приходилось порой несладко, а как-то даже и его принудили защищаться кулаками.

По-моему, он живо заинтересовался мной, а так как я не мог не выступать, то он с удовольствием слушал мое чтение: «Мцыри», «Демона» (его я тоже помнил наизусть), «Братьев-разбойников» и «Полтавы» (ее я помнил с детства), «Медного всадника», «Графа Нулина».

При Федченко я не решился читать «Петергофский госпиталь» и «Царя Никиту», как и еще некоторые, слишком уж фривольные вещи.

К сожалению, к числу друзей я не могу отнести Александра Емельяновича, хотя и не по своей вине.

В эту же камеру бросили Адушкина, одного из тех воров, которые наводили страх на камеры пятьдесят восьмой статьи. По-моему, «кумовья» специально подбрасывали их «на кормежку» в те камеры, где блатные могли что-то добыть съестное (а это было главным в центре) и, будучи относительно сытыми, поменьше беспокоили тюремное начальство. Тихо грабили в камерах и, пользуясь безответностью каторжан, меньше надоедали начальству требованиями о создании им особых условий, переводах в больницу, на слабосилку и т. д. Это случилось в то время, когда понемногу каторжане начали получать посылки. Я тоже успел получить одну, о чем расскажу чуть позднее. Как было заведено, каждый, получая посылку, угощал всех в камере табачком, а съестным делился, с кем уже хотел, или вообще не делился. Дело каждого. Но блатари требовали, чтобы из каждой посылки им уделяли долю — и не только табака, но и съестного, пусть даже немного, но чтоб видели, что «уважают». Я, зная нравы камеры, получив первую посылку, почти весь табак раздал, а съестным поделился с Федченко и, каюсь, еще большую дозу дал Адушкину. После этого моя посылка была неприкосновенна. Александр Емельянович из своей второй посылки (когда он получил первую, Адушкина в камере еще не было) не дал вору ничего, точнее, дал, как всем другим и даже меньше, чем своему соседу, некоему Николаю Ивановичу, человеку лет пятидесяти двух-трех, бывшему старосте или полицаю, довольно необразованному, но почему-то терпимому Александром Емельяновичем. Адушкин обиделся. Пробовал убедить инженера, даже просил, чтобы я поговорил с ним. Я честно сказал Александру Емельяновичу, что это, конечно, не мое дело, но, по-моему, лучше немного дать, чтобы отвязаться от вора. Кстати, Адушкин выглядел и вел себя куда лучше, чем «Кузнец» или Мишель. Это был красивый высокий блондин лет тридцати. Александр Емельянович сказал мне, что он от своих принципов не отойдет и не дал Адушкину никакой добавки.

Прошли сутки. Все было спокойно. На утро следующих суток вся камера была разбужена воплем Александра Емельяновича: посылку украли. Из мешка, в котором она была, ее вытащили (а мешок висел над самой головой Федченко на гвоздике, вбитом в стойку или верхние нары (так было у всех).

Александр Емельянович потрясал кулаками, возмущался, бросился к Адушкину. Но тот преспокойно отреагировал: «Не пойман — не вор, надо было лучше стеречь посылку». Остальные жильцы камеры не очень возмущались. Я тоже молчал, хотя был уверен, как и Александр Емельянович, что это дело рук Адушкина. Сосед инженера, Николай Иванович, сокрушался и клял себя за то, что не углядел...

Вот когда Александр Емельянович стал ко мне относиться прохладнее. Он решил: раз я по поручению Адушкина и по своему убеждению советовал ему немного уделить Адушкину, значит, я причастен к воровству и указал грабителю, где находился мешок с посылкой. Это тем более выглядело правдоподобно, что я часто сидел на нарах Александра Емельяновича, беседуя с ним. Конечно, вслух своих подозрений он не высказал, но, как я понял, думал именно так — и не без «помощи» Николая Ивановича, своего «верного» соседа.

Через недели две-три, когда я получил следующую свою посылку и предложил от души часть ее Александру Емельяновичу, он отвел мою

руку с дарами и, горько улыбнувшись, сказал: «Не надо. Отдайте Адушкину». И ни за что не хотел принять, хотя, уверен, был голоден.

Так как я не видел в камере больше достойных людей, то сделал так, как сказал Федченко. Адушкин обрадовался и, когда я откровенно сказал ему, что меня заподозрили в связи с ним, вдруг ответил откровенностью на откровенность: «Продажники вы, все-таки. Место, где висел мешок с посылкой, клянусь, мне указал друг Федченко, этот старый полицай (Николай Иванович). Только ты молчи. Он еще так ехидно мне, указав, подвинулся, чтоб мне удобнее было снимать и вытаскивать и сам же потом мешок на место повесил. Понял? Но — молчок» И я, глотая обиду, молчал. Мне до сих пор больно, что достойнейший человек, который отнесся ко мне очень тепло, мог и потом думать, что я был соучастником преступления. Впоследствии мне об этом, уже на воле, писал Федя, попавший вскоре также в одну камеру с Федченко. В этой же камере немного раньше я получил первую посылку. Я уже писал, что отправлял письмо без всякой надежды на какой-либо успех или ответ. Уже многие получали посылки, уже я стал покупать табак за свой хлеб (теперь за полпайки давали два коробка спичек и, сложившись с кем-либо, можно было за четверть пайки иметь курева дня на три, учитывая экономнейшее расходование).

32. «КТО ТУТ НА «ЭС»?»

Первые письма и посылки были сенсационными событиями в жизни не только получателя, но и всей камеры. Ведь никто не верил в возможность связи с родными. Некоторые были по три-четыре года оторваны от них, а иные, как я, таких, правда, были единицы, по шесть лет.

Я уже привык к тому, что кто-то получает посылку, письмо, а я получаю, как и большинство, возможность подешевле купить табачок и могу при этом выклянчить кусочек газеты на закрутку.

Как происходила выдача посылок? Ответственный за это надзиратель, уже взяв в списках у начальства данные о том, в какой камере находится получатель, открывал кормушку и спрашивал: кто у вас тут на такую-то букву. Когда вызываемый подходил, надзиратель спрашивал его фамилию, имя, отчество, адрес, откуда он ждет посылку и уже тогда отворяли дверь камеры. Счастливчик выходил в коридор, где в присутствии дежурного надзирателя и корпусного ответственного за выдачу, открыв и проверив содержимое ящика и ящик оставив в коридоре, выдавал посылку получателю в его вещмешок, с которым тот выходил из камеры.

Получение посылок перевернуло мозги нашим охранникам. Они полагали, что мы все — безродные изменники, нищие крохоборы. А тут в посылках вдруг увидели такие продукты, а иногда и вещи, какие им в забайкальском захолустье вовсе ведомы не были.

Так было и на сей раз. Надзиратель подошел к кормушке и спросил: «Кто тут у вас на «эс»? Ответило сразу несколько голосов. Надзиратель сказал: «Нет» и, мы слышали, стал спрашивать в соседних камерах.

Через несколько минут он снова вернулся с тем же вопросом и снова безуспешно. Хорошо, что надзиратель был добросовестным служакой.

В третий раз он открыл кормушку нашей камеры: «Так кто тут у вас на «эс»? Ответ был прежний: кого называли, тот у него не числился.

— А такой «Са-ма-ла-мо-нович у вас есть?».

— Боже мой! Неужели?! «Клейн Рафаил Соломонович!» — крикнул я.

— Так что ж ты раньше молчал?

— Так это же мое отчество.

— Откуда ждёшь?

Я назвал Куйбышев, Москву. Дежурный мотал головой.

— А в Киеве у тебя никого нет?

— Клейн Борис Ильич! (Неужели дядя жив?!).

— Вот он и прислал. Выходи.

Так была получена моя первая посылка, и в корне изменился весь уклад моей жизни. Я понял, что не забыт, что чудеса в этом мире бывают. Некоторое время известий больше не было. Моя махорка кончилась (я ее слишком щедро раздавал) и, соответственно понемногу

снова стало изменяться отношение ко мне. Те, кому я давал курить, сами получив посылку, не давали мне и я снова нет-нет да начал понемногу «прикупать» табачок, благо к нему опять прирастался. Кроме того, я понял, что хорошо до тех пор, пока даешь. Люди почитают или богатство или грубую силу. Иные откровенно считали меня дурачком: получил так много махорки и задаром раздал. А другие были поумнее и берегли курево да еще помаленьку меняли его на хлеб. В дальнейшем я постараюсь не быть таким дураком, как сперва. Но... Писем все не было. Вдруг открытка. От тети Гольды! Подруга моей покойной матери, которой под семьдесят, пишет мне, не боясь «связи с врагом народа».

Ольга Исааковна Ратнер (будь благословенно это имя и, если есть Бог, пусть он знает, что не только мне помогала эта удивительная мужественная Христова невеста), тетя Гольда писала, что дядя Арон, которому я писал письмо в Куйбышев, умер еще в конце сорок первого года; что письмо ей переслала вдова дяди, русская, тетя Шура Самойлова. А она, Ольга Исааковна, сразу же связалась с дядей Борисом, вернувшимся после эвакуации в Киев. Писала тетя, что дядя Борис принимает горячее участие в моей судьбе и она все время будет держать с ним связь.

Однако, с посылками была задержка, а писем долго не было. Вдруг меня вызвали к начальнику (это был «кум»).

Когда меня привели в его кабинет, он предложил мне сесть, а потом спросил: «Кто у вас есть из родных видный советский ученый?».

Зная, что чем меньше я буду называть своих родных, тем им лучше, я сделал вид, что крепко задумался.

— А кем вам приходится профессор Борис Ильич Клейн?

— Дядей, братом покойного отца. (Я всегда в заключении умалчивал о том, что он числится моим отцом, так как усыновил меня).

— Так вот, профессор Клейн писал мне письмо. — И он прочитал его.

Теперь, почти через полвека, когда я ознакомился с моим пухлым «Делом», привожу его. На своем бланке дядя писал (письмо было напечатано на машинке):

«Иркутская область, Кировский район, село Александровка, тюрьма № 5. Начальнику тюрьмы № 5 от профессора Академии наук УССР, Клейна Бориса Ильича.

Глубокоуважаемый т.

Начальник.

К Вам обращается с убедительной просьбой старейший микробиолог СОЮЗА, профессор Академии наук УССР. Мне 73 года (на самом деле дяде было 75), мои научные труды пользуются известностью в СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ и за рубежом.

Просьба моя состоит в следующем.

Как мне сообщено ГУЛАГОМ, в тюрьме № 5, находящейся под ВАШИМ начальством, содержится сын моего умершего в 1930 году брата-врача, мой племянник КЛЕЙН Рафаил Соломонович, бывший студент Ленинградского Театрального института. И я убедительно прошу ВАС, глубокоуважаемый т. НАЧАЛЬНИК, разрешить ему:

1) написать мне письмо, 2) получать от меня высылаемые мною деньги, а также посылки продуктов и вещей.

Буду ВАМ глубоко признателен за исполнение моей просьбы. С глубоким к ВАМ уважением (Подпись) профессор, доктор медицинских наук Б. И. Клейн».

— Так что пишите ему и получайте посылки. — Заключил чтение «кум».

Я вернулся в камеру. Правда, после того были еще задержки с письмами. Но посылки я начал получать регулярно. Кроме того, дядя перевел мне довольно крупную сумму денег и я смог также пользоваться тюремным ларьком, где, кроме махорки, бывали папиросы, а также дешевые консервы.

Постепенно я начал набираться сил и уже сразу было видно, что

безнаказанно меня толкать нельзя.

33. ПОЧТИ СВИДАНИЕ

Еще ком расставания в горле;
Вперед — испытанья войны,
И ремни еще плеч не натерли,
И подсумки патронов полны.

Эти строки я написал значительно позднее, вспоминая роковой день 22 июня, кровавое воскресенье сорок первого года. «Ком расставания» от прощания с любимой девушкой Валею. Она провожала меня на фронт. Ее имя шептал я под бомбежками и обстрелами, ее судьба беспокоила меня в плену и продолжала беспокоить в голодной тюрьме. И вот весточка о ней. Тетя Гольда написала, что Валя разыскала ее и зашла к ней домой. Пришла с мужем, тоже артистом. Она играет в Москве в Центральном детском театре. Тетя наивно спросила: не думает ли она съездить ко мне в Александровский централ и попытаться получить свидание. Валя ответила уклончиво. Наивная тетя!.. В плену я часто вынимал из нагрудного кармана гимнастерки фотокарточки мамы, папы, дяди Бориса, Вали. Я пронес их через фронт и плен. Только у нас в контрразведке их отобрали и больше я их не видел. Когда немцы спрашивали женат ли я, я показывал фото Вали, «майне браут» (невеста). И они почтительно кивали головами. Мать моя вовсе не была похожа на еврейку, светловолосая и чуточку курносая. Папа выглядел на фото очень интеллигентно. Но ведь не все интеллигенты евреи... Дядя больше походил на японца. У папы были вьющиеся черные волосы. Они перешли ко мне, доставляя немало беспокойства в плену. Нет худа без добра: красноармейцев, в том числе добровольцев, стригли под нулевку, как всех каторжан и заключенных. Первое время в плену по стриженной голове вообще нельзя было определить, какие волосы, вьющиеся или нет. Командиров, начиная с младшего лейтенанта уже не остригали так: человеком считали, очевидно. Это было заметно и по пайкам. Между солдатским и офицерским пайком разница была огромнейшая, чего, как ни странно, не было у немцев и вообще в армиях цивилизованных стран.

Героическая тетя Гольда приехала в централ! Семьдесят километров в декабре она добиралась на попутном грузовике до села Александровки, где остановилась на ночлег у одной из женщин, обслуживавших тюрьму (кажется, фамилия ее Буянова). Свидания не дали: не положено. Тетя схватила воспаление легких и пролежала около двух недель. Однако, могучий организм взял свое и она выздоровела. Приезд совпал с денежной реформой, перевернувшей все понятия о ценах и деньгах. Пока тетя болела, она успела завоевать авторитет у населения. Великолепный врач (недаром она сорок пять лет работала в институте Склифосовского), она, сразу поставив точный диагноз нескольким жителям (первый из них обратился к ней, «смеха ради», а она ему сразу поставила диагноз и назначила лечение) и помогла им. Мне тогда она сумела передать три передачи, в которых было замечательное блюдо — горячая картошка и соленые огурцы. Конечно, получая передачи или посылки, я всегда делился с соседями. Не скрою, когда после получения первой посылки я убедился в непорядочности большинства сокамерников, я стал осторожнее и предпочел, когда оказался в камере с Мишелем, Борисом Григорьевым и Ильей Давиденко (это было в разное время) немного больше уделить им, чтобы спать спокойно. Скажу: Мишеля мне было просто жалко. Вся его жизнь, раннее сиротство, детдом, издевательства над мальчиком звали его на преступный путь, где он нашел свое призвание... Кроме того, я помнил, как в Иркутске, увидев меня, Мишель сказал: хлеба не гарантирую, а баланду («шлюмку») будешь иметь и голодным не будешь. Боря Григорьев («Бука») был юноша из хорошей семьи, очень симпатичный и любознательный, случайно попавший на скользкий путь и по глупости взявший на себя тяжелую вину старшего товарища. «Рыцарство» не прошло и Боря получил двадцать лет каторги. Илья Давиденко был на года полтора младше меня. Он был из Новосибирска или Кемерово. Увы, он получил срок за умышленное убийство: проиграл в карты и обязан

был убить, кого ему скажут. Ему указали старуху депутатку райсовета. Он убил ее и знал, за что сидит. Обо всех этих трех скажу, что не в пример «Кузнецу», подходившему под все определения блатных Шаламовым, эти трое, беру на себя смелость утверждать, имели совесть, были любознательны, держали слово даже в отношении нас, фраеров, и имели мужество вступаться за фраеров, если кто-то из блатарей обижал их незаслуженно. Авторитетнее был, конечно, Давиденко, как старший и более сильный. Над Борисом насмеялся и пытался издеваться «Кузнец», чего юноша тому не мог простить. С Давиденко мы познакомились уже в этапе из централа в Златоуст весной сорок восьмого года. В Златоусте мы были все время в одной камере.

Там не делали перестановок или почти не делали. Одно время в камере с нами был чудесный человек Александр Ощепков из Читинской или Иркутской области. Саша был фронтовиком, отмеченным наградами, а еще больше тяжелыми ранениями. У него были пробиты легкие и на теле было много ран, почти еще незаживших. Саша, будучи демобилизован по тяжелому ранению, в родном селе был назначен вроде бы председателем сельпо. Помощники, опытные в хищениях и темных махинациях, за его спиной сделали какие-то «дела» и, попавшись, свалили все на безвинного честного Ощепкова. Он пытался доказать свою непричастность, но у тех негодяев вся юстиция была «на крючке» и Саше дали двадцать лет каторги. Из свищей после ранений у него часто шла сукровица. Он нуждался в госпитализации, но его в больницу не клали: «поноса нет — не нуждается». Я как мог помогал ему. Но разве ему можно было жить в таком воздухе? Кстати, у него дома были молоденькая жена и малютки дети. У него началось кровохарканье и вскоре после того как его взяли наконец в тюремную больницу, мы узнали, что он умер. Ему было около двадцати шести лет.

В один прекрасный день года через полтора после войны мы увидели на гимнастерках наших надзирателей медали **«За победу над Германией»**. Эти «фронтовики» всю войну служили Советскому Союзу в глубочайшем тылу, проявляя свое геройство в коридорах внутренней тюрьмы. Особенно памятно мне, как Чалый с блестящей медалью гордо входил в камеру, выискивая новую жертву для своих издевательств.

Когда тетя приезжала в централ, она получила разрешение передать мне книги и передала «Повесть о настоящем человеке», «Люди с чистой совестью» и «Мстители гетто» (про гетто в Минске). Вероятно, старушка думала, что я был в гетто.

34. ПРОЩАНИЕ С ЦЕНТРАЛОМ. ЗЛАТОУСТ

Уже когда этапом, встречая каторжан из разных камер, мы ехали в Златоуст, я узнал, что в централ стало поступать новое интересное пополнение. Привезли туда японских генералов. Они, говорят, вели себя очень достойно. Считали себя невиновными. Один надеялся, что его освободят, потому что он был в какой-то японской делегации в Москве до войны и разговаривал со Сталиным. Увы, этого было недостаточно для облегчения участи.

Привезли раскулаченных тувинцев. Это были совсем темные люди, одетые в какие-то кустарным, домашним образом сшитые брюки из козьих кое-как обработанных шкур. По-русски они не говорили. Никак не могли понять: за что их так наказали; были растеряны и запуганы. Говорят, некоторые из них вскоре умерли, не перенеся неволи. И еще сказали, что в централ поступили власовцы. Немного. Но поступили. Значит, наши вошли в Европу...

В централье же в одной из камер я подружился с чудесным старичком (ему было лет шестьдесят пять) Владимиром Павловичем Щеголевым. Получив образование задолго до революции, он затем учительствовал, а когда немцы пришли в Воронеж или в тот город, где он тогда жил, его поставили редактором местной газеты на русском языке. Кажется, она успела выйти только один раз... Владимир Павлович был слепым. Страшная глаукома еще с воли стремительно ослепляла его. Я всегда водил его с собой на прогулку и подолгу беседовал с ним. Он был широко образованным, милым и интересным собеседником. Обладая

феноменальной музыкальной памятью, он наизусть тихонько напевал мне целиком оперы «Кармен» и «Тангейзер», знал множество арий, песен, романсов. С ним было интересно. Сын его был чуть ли не прокурором где-то в крупном городе. Посылки он получал не так часто, как я, и потому я ему всегда уделял из своих продуктов.

После того, как я стал регулярно получать посылки, отношение ко мне изменилось. Тем, кто в лицо ругал меня и обзывал дураком, я стал казаться... умным, а все евреи ...идеальными людьми. Естественно, таким я не верил. Конечно, были и люди принципиальные. Так, помню, один машинист паровоза Грудинин всегда очень гордо расхаживал по камере, нередко отпуская «остроты» в мой адрес. Вдруг он как-то утром по-особому тихонько подошел ко мне: «Александр, вот тебе полпайки, дай мне табачку».

— А почему ты у другого не купишь?

— Знаешь, там обманут, а ты не обидишь.

— Нет, продавать тебе табак я не буду. Я его и другим не продаю.

— А мне продашь.

— Нет. Просто дать дам, а продавать не буду. На возьми. — И я отсыпал ему на несколько цыгарок. — А пайку свою заberi.

Грудинин, хмурясь, взял табак. Пошел к себе на койку (в Златоусте в камерах были железные койки), закурил. Потом через некоторое время подошел: «Почему ты не взял у меня хлеб? Боялся?».

— Нет.

— А почему же?

— Я хотел, чтоб ты почувствовал, если можешь, что-то другое.

— Ну, спасибо.— Сказал он. (Уверен, что он ничего не почувствовал).

— Вот это мне и нужно было.

— Что?

— Твое «спасибо».— Вы все говорите, что евреи предатели, что Иуда Христа предал. А ведь из двенадцати апостолов-евреев только один оказался Иудой, а тут каждый третий Иуда и готов продать не за тридцать серебрянников, а за несколько цыгарок или за полпайки хлеба. Иди себе, кури и думай.

В Златоусте можно было выписывать газеты и я выписал местную городскую и областную «Челябинский рабочий», в которой обратил внимание на очень приличные стихи некой Людмилы Татьяничей, ставшей впоследствии довольно известной поэтессой.

В Златоусте же я попытался добиться разрешения писать роман моих воспоминаний. Написал на имя Сталина письмо. Ответ получил от начальника тюремного управления: держать бумагу, писчие принадлежности в камерах с режимом содержания запрещается. Бумага выдается только для разрешенных писем к родным раз в месяц, если нет нарушений.

Чтоб сообщить мне этот ответ меня вызвал «кум». Им оказался молодой чернявый паренек, очень симпатичный. Объявив мне ответ и, выразив сожаление (что поделаешь? Режим есть режим). «Кум» поинтересовался моим «артистическим прошлым». Я сказал, что только начинал театральную жизнь, но война прервала. «Кум» тяжело вздохнул и вдруг предложил мне... «помогать» ему.

— Это что же, докладывать, кто иголку спрятал или кто что сказал?

«Кум» замялся, почувствовав неладное.

— Вот вы поинтересовались моим отношением к сцене, к искусству. А тут я буду вам доносить кто что говорит, какие глупости или что-то в таком роде. (Тут я сел на своего конька, как в беседах с немцами). Вы — честный человек (по-моему) и разве вы будете уважать того, кто будет вас снабжать подобными сведениями? Нет, уж лучше пусть на меня доносят, чем я на других. Хотите? Я вам прочту что-нибудь?

— Прочтите.

Я прочитал ему «Письмо академика Павлова к молодежи». Оно мне очень нравилось и, случайно наткнувшись на него в каком-то журнале или газете, я выучил его. «Вот такие вещи я люблю, это красиво. А доносить — пусть это делает кто другой. Лучше мне голову заполнять чем-то стоящим, чем сплетнями о том, что у кого есть и чего нет. Увольте».

Он засмеялся и мы навсегда расстались.

В Златоустовской тюрьме была неплохая библиотека, и нам давали читать книги. Тут я прочитал по-немецки «Ведущую ось» Ильенкова (какая мура?!) и «Прощание» И. Бехера, отличный роман, как и «Мертвые остаются молодыми» Анны Зегерс. Все на немецком языке. Романы Бехера и Зегерс мне понравились.

Сперва нас в Златоусте кинули в камеру, находившуюся над кухней. Дышать в ней было нечем. Мне удалось убедить всех объявить нечто вроде забастовки. Вытребовали начальника тюрьмы, врача. Очевидно, убедить удалось и нас всех перевели в камеру напротив, где не было так душно.

Конечно, тюрьма Златоуста не шла ни в какое сравнение с централом. Хотя и здесь были параши. Но в камерах было не более двадцати-двадцати четырех человек. Причем, у каждого своя койка с матрацем. Отопление было центральное. Полы асфальтовые. На оправку мы выходили в уборную современного типа, а не в такую, как в центральном. Здесь уже мы жадно набросились на все сведения о войне, о ее окончании, о судьбе гитлеровских заправил. Облегчало положение, что все получали пятьсот пятьдесят граммов хлеба и приварок был лучше, чем в центральном. После нас, говорят, в централ привезли этап из Норильска, но уже не каторжников, а эзков, из которых некоторые даже освобождались в центральном (это я узнал от одного из этих «норильчан», Арона Наумовича Гольдфарба, отца моих друзей, который по статье пятьдесят восемь пункт десятый получил десять лет в тридцать седьмом году. Его передержали в центральном, так как не знали, что с ним делать, когда у него кончился срок).

Были среди сокамерников грек из Одессы, — Бахал — увы, не напоминавший своих героических пращуров, а также немец, тоже из Одесской области. Последний был милым человеком, честнейшим и неглупым. Он был старше меня немного и потому часто вздыхал о своей семье: что с ней могли сделать? Виноват, что не запомнил всех из камеры в Златоусте. А были там еще хорошие люди. Тот же Егор Ильич Жук, еще один пожилой староста откуда-то из-под Киева или Винницы, Саша Ощепков. Рядом со мной спал Давиденко и, если б я даже хотел, то не смог бы сказать о нем ничего плохого. Никого он не обижал, ни от кого ничего не требовал, ни у кого ничего не кланчил и никому не грозил. Он очень любил слушать мои рассказы об увиденных спектаклях, об игре актеров, а также рассказы об операх. Он, как, вероятно, и другие, не слышал в жизни ни одной оперы и не имел о ней представления. Я же рассказывал всей камере о чуде театра. Как-то, когда я так вдохновенно рассказывал об опере, надзиратель грубо одернул меня. Другие за меня вступились. Затем я месяца два не получал писем и посылок...

35. ФЕЯ РОСАВА. СРАВНЕНИЕ ТЮРЕМ

В камере поставили репродуктор. Нередко мы слушали радиоспектакли, музыкальные передачи. Как-то передавали из Москвы запись (или прямую трансляцию) спектакля Центрального детского театра «Воляничик из Страколиц». Поэтическая чешская пьеса-сказка не вызвала никакой реакции у жителей камеры (по-моему, ее номер был 89). Но я, вызвав недовольство некоторых, в том числе Грудинина, хотевших выключить радио, настоял при помощи Ильи, чтоб не выключили. Я слушал и слушал: в спектакле одну из центральных ролей — феи Росавы — играла Валя. Я слышал ее глубокий грудной голос. Узнавал и не узнавал. Вот как нам привелось впервые «встретиться»... Я ее слышал, она меня — нет. Да и нужно ли было ей меня слышать?..

Шмоны в Златоусте носили другой характер, чем в центральном. Здесь нас выводили на прогулку, а в наше отсутствие обыскивали тщательнейшим образом все в камере. Затем нас обыскивали уже при возвращении с прогулки, но не так яростно и бесстыдно, как в центральном, хотя очень тщательно, конечно.

Прогулочные дворики здесь были солнечнее, чем в центральном. Подняв головы, мы видели зелень окружающих тюрьму гор. Это же был Урал, край подземных богатств и великих умельцев. Здесь, в тюрьме, я прочитал сказы Бажова.

Конечно, сравнивать «удобства» тюрем наивно, тем более, что в центре нас содержали в самое голодное военное и послевоенное время. Сам знаю, что деревянные полы в камерах для здоровья куда лучше, чем асфальтовые или бетонные. Но в Златоусте не было нар в два яруса да еще и переполненных. Здесь у каждого была железная койка с матрацем, набитым соломой, что уже само по себе казалось нам роскошью... А если к этому прибавить возможность слушать радио, получать книги из библиотеки и более сносное питание, то эта тюрьма являлась чем-то вроде слабосилки или даже больницы.

Чтение газет, а читали обычно вслух, «для всей камеры», как-то стало связывать нас с внешним миром (в письмах, по понятным причинам, писали мало и лишь о редких семейных новостях: кто-то женился, у кого-то родились внук или дети и т. п.). Особенно интересовали наших гореполитиков события за рубежом, очень скупо освещавшиеся в областной и городской газетах. Но все же иногда попадались примечательные материалы. Так мы вычитали, что где-то во Франции прошла многодневная забастовка шахтеров, с которой полиция, поддерживавшая, понятно, проклятых капиталистов жестоко расправилась: более двухсот шахтеров в результате этого дела были приговорены более чем к семистам пятидесяти дням тюремного заключения, в общем.

Прочитав такое известие, один из наших «политиков», бывший староста, очень добрый человек, сочувственно покачал головой: «Там тоже дуже сурово розправляются».

Цифра «звучала»: более семисот пятидесяти... дней. Но ведь дней же, а не лет. Я «успокоил» старика, объяснив ему, что вся сумма наказания французских шахтеров составляет примерно одну десятую часть его собственного срока, двадцати лет.

Староста удивился: «А я думал...». Для того-то газеты переводили годы в дни, чтобы произвести большее впечатление на наивных читателей.

Жадно глотал я редкие статейки о спектаклях театра в Златоусте и про себя мечтал: хотя бы в таком быть актером...

А дни шли неумолимо. Как-то перед выходом на прогулку я вдруг ни с того ни с сего потерял сознание. Обморок длился недолго. Я очнулся уже на своей койке в камере. Возле меня сидели Илья Давиденко, массирующий мне руки и грудь, и пожилой староста. Отчего произошел обморок я не знаю. Может быть, от духоты в камере. Староста сокрушался: «Такий молодой...». В тюрьме Златоуста нас продержали около двух лет.

36. ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

На этот раз нас везли в теплушках. Ни в каких пересылках не останавливались. Приехали (позднее узнал: станция Суислово Кемеровской области) на небольшую станцию. Выгрузили и пешком повели на весьма далекое расстояние. Дорога была грязная. Вели нас долго. Но, как мы поняли, не всю златоустовскую тюрьму перевезли сюда. Вероятно, некоторых оставили, кто был нетранспортабелен, или перевезли в другое место. В этапе уже мы встретились с людьми из других камер. Там-то тогда я узнал, что из центра развезли нас в разные места. Нас — в Златоуст, а другую часть — в Тюмень. Федя Фесенко попал в Тюмень. Оттуда, что я узнал еще позднее, Федю вывезли в лагерь под Сургутом, откуда он впоследствии освободился.

Нас тоже распределили по разным лагпунктам. Одну часть, человек пятьдесят-семьдесят — оставили на станции. Затем их повели в другой лагерь. Я расстался с Давиденко и больше не встречался. Но знаю, что он, когда его приятели пытались сделать мне неприятности, придравшись к тому, что я, дескать, в хороших отношениях с «суками» (блатными, порвавшими с своей средой и ставшими на службу начальству в качестве нарядчиков, бригадиров или вообще порвавших со своим прошлым), Илья, мне впоследствии в Воркуте рассказывали, горячо вступился за меня и сумел убедить, что артист есть артист и для него аудитория не важна, лишь бы слушали и сопереживали.

Я тогда не совсем понимал еще всю эту «сучье-блатняцкую» иерархию и даже в Воркуте не знал точно в каком ОЛПе нахожусь, в блатном или

сучьем. В Заполярье затем появились еще ОЛПы, где всем заправляли банде-ровцы или прибалтийцы, а то и такие, где просто сумели позднее победить блатных или сук и установить свой «фраерский» порядок. Вообще, как жизнь камеры, так и жизнь лагеря в миниатюре отражают государственное устройство со всеми его минусами и отдельными плюсами.

Человек, когда он носит свое законное имя и не скрывается от беспощадного закона, даже терпя лишения, чувствует себя внутренне свободнее, чем скрывающийся, пусть сытый, ходит ли он под конвоем или без него. Одно — мое состояние в плену, другое — во время побега, когда я себя поставил даже вне того беспокойного покоя, в каком пребывал пленным, и третье — уже спокойствие осужденного, но ставшего самим собой. Признаюсь, во время долгого заключения я чувствовал себя спокойнее, чем в плену, где надо мной постоянно висел Дамоклов меч позорного разоблачения и неизбежной казни. Поэтому здесь, находясь среди ставших одинокими людей, оторванных от семьи и общества, я не чувствовал себя так одиноко, как в плену. Правда, он не вечен: должен закончиться вместе с войной, а каторжному сроку конца не видно: Советская власть - долгая...

Первые месяц-другой, нас, новоприбывших, легко было даже неопытным глазом отличить от старожилов лагеря: мы все были бледными, белолицыми. Тюрьма оставила свой след.

Простите, но по сравнению с тюрьмой лагерь мне — и не только мне — показался свободой. После работы мы могли походить по зоне, зайти в другой барак (нас здесь запирали на замок только после отбоя).

Лагерь представлял собой квадрат, внутри которого, глубоко вкопанные в землю, находились полубараки — полуземлянки. Внутри нары были в два яруса. Это были огромные бараки. В каждом из них помещалось около двухсот-трехсот каторжан. В зоне находились также еще одна маленькая зона; внутри ее располагалась в таком же бараке большая портновская мастерская; стояли отдельно строения кухни, ларьки и вещевого склада. Если маленькая «портновская зона» просто ограждалась забором из колючей проволоки с воротами и калиткой, то снаружи весь лагерь ограждался двойным забором из колючей проволоки, между рядами которой были огневые пролеты: посыпанные песком пяти или шестиметровые полосы земли между проволокой, с обеих сторон которой опять же находились полосы запретной зоны. По концам этих огневых пролетов стояли вышки, в случае, если кто-либо там оказывался, огонь открывали с вышек без предупреждения. С одной стороны наш лагерь выходил в голую, бескрайнюю степь, с другой граничил с зоной обычных заключенных, бытовиков, где, кажется, царил блатной мир. Режим там был значительно слабее и условия содержания лучше.

37. НОВЫЕ ЗНАКОМЫЕ

Отделенные друг от друга от внешнего мира огневыми пролетами; лагеря вытянулись вдоль проселочной дороги большим прямоугольником, как бы состоящим из более мелких. Самым маленьким, почти квадратом был наш каторжный лагерь; рядом с нами — большая зона бытовиков. Она отделялась от соседней — зоны строгого режима — колючей проволокой и, не помню уже, был ли там огневой пролет. Дальше, после зоны строгого режима, после огневого пролета была дорога, отделявшая прямоугольник мужских зон от женской, по другую сторону дороги. Женская, хотя была бытовой, не каторжной, но все равно со всех сторон отделялась огневыми пролетами.

Где-то, за несколько километров отсюда, были еще две каторжных зоны. А в стороне от них и других лагерей бытовиков находилась штрафная, так называемое «торф-болото», где, кажется, содержали проштрафившихся блатарей и других нарушителей режима на тяжелых и вредных работах по добыче торфа. Наша зона, в основном, занималась строительными работами и, в какой-то мере бытовым обслуживанием других зон. Здесь чинили обувь, одежду, даже шили ее, благо имелся отличный портной и закройщик Рассоха, несмотря на поврежденную

левую руку он ловко и быстро справлялся с любой портновской работой.

Радио здесь не было. Газет тоже не было и выписывать их не разрешалось. Книг не было и не полагалось. Однако, после работы возле барака неподалеку от огневого пролета, отделявшего нас от зоны бытовиков, рассаживался небольшой оркестр. В нем все инструменты были самодельные: две гитары, контрабас, уже не помню еще какие духовые инструменты и барабан с тарелками. Руководил оркестром его организатор — литовский инженер-строитель, сам сделавший себе скрипку и игравший на ней. Как правило, начинал свой концерт оркестр исполнением любимой его руководителем задорной литовской польки, мотив которой я помню, но здесь, конечно, воспроизвести не могу: нужны ноты. Играли народные танцы, а также отдельные классические произведения. Конечно, все это подбиралось и готовилось по слуху, так как нот не было.

Узнав, что я артист, руководитель предложил мне спеть что-либо под аккомпанемент оркестра. Я объяснил, что не певец, а драматический актер, но попытаюсь спеть. Действительно, несмотря на то, что оркестр, непривыкший к сопровождению, первое время безбожно глушил солиста, вскоре мы как-то нашли «общий язык» и я нередко пел русские народные и неаполитанские песни под аккомпанемент оркестра, уже ставшего сопровождать так тихо, что я сам еле-еле его слышал. Но... на безрыбьи и рак-рыба и наши выступления всегда собирали вокруг множество товарищей по несчастью. Часовые на вышках, насколько знаю, тоже с удовольствием причащались к искусству. Этот оркестр являл великую разрядку для всех. Музыка будила добрые воспоминания, напоминала о том, что жизнь еще не кончена, что есть другая жизнь в других краях, есть где-то родные, дорогие лица. Как-то, желая мне доставить удовольствие, руководитель стал играть на скрипке какую-то очень красивую печальную мелодию и спросил: знаю ли я ее? К стыду своему, я не знал.

— Какой же ты еврей?— возмутился инженер-руководитель.— Это же «Плач Израиля».— И он снова начал наигрывать красивую грустную мелодию.

Мне досадно, что я забыл фамилию и имя этого инженера. Ему тогда было под пятьдесят. Среднего роста, худощавый, с маленькими светлыми усиками на узком лице. Он был интеллигентен, но настроен весьма антисемитски. Правда, как обычно у таких людей, на меня он свое отношение ко всей нации не распространял. Иногда мы беседовали на эту тему и он, по сути, сам не мог объяснить происхождения своего отношения к евреям. Как интеллигент он возмущался жестокостями в отношении детей, женщин на оккупированной территории, но в то же время считал, что евреи — вредная нация и без нее спокойнее и самостоятельнее чувствует себя любая другая. А потому их надо оттеснять, выселять, ущемлять, а при сопротивлении — не грех — даже уничтожать непокорных... Дико уместалось все это в его голове, интеллигентность и юдофобство. Пораженный тем, что я прошел фронт и плен, где остался неузнанным, он делал для меня исключение в своем отношении к еврейству...

Здесь я подружился с несколькими примечательными людьми. Среди них были ленинградский композитор Игорь Лашков, армянский художник-декоратор Кока Енкоян, русский художник Василий Парамонов и болгарин Степан Желязков. Все мы были из централа, но ранее никогда друг друга не видели, хотя о Енкояне я слышал, что он еще до разрешения на переписку получал богатые посылки.

Вероятно, о Парамонове и Енкояне начальству уже было известно (они и в тюрьме, кажется, получили возможность рисовать портреты начальства), потому что им сразу отвели помещение в зоне, в небольшом отдельном строении с большими окнами, где можно было заниматься живописью. Так как это строение не отделялось от остальной зоны, я стал там частым гостем. Художников и меня сближали интересы и определенный круг знаний, а Степан тесно примкнул к нам из-за своей любознательности и беспредельной любви к искусству. Я до сих пор не знаю толком, за что получил каторгу Степан. Знаю, что он жил в Одессе. По-моему, его арестовали уже после войны за какие-то крупные растраты. Мы с ним были примерно одного возраста, Вася Парамонов —

года на четыре старше, Кока Енкоян лет на пять-шесть старше, а Игорь Лашков, бледный, узколицый, очень аристократичный интеллигент, если не ошибаюсь, был года тысяча девятьсот одиннадцатого рождения. Он был болезненным, слабеньким и, естественно, Василий и Кока приняли участие в его судьбе. Так как художники сразу получили работу — расписать по трафаретам помещения кухни и раздаточной, что им обеспечивало «дополнительное питание», они замолвили слово и за Лашкова и его пристроили в зоне на такой «работе», что он только на ней числился и мог целыми днями заниматься своей любимой музыкой. Так как разрешили бумагу и карандаши, Игорь стал квалифицированно расписывать партии для оркестра и, хотя не претендовал на роль руководителя, но последний несколько ревниво отнесся к появлению нового авторитета, стремительно освоившего игру на гитаре и скромно усевшегося в оркестре.

С Игорем нас роднил Ленинград, его город и город моих лучших воспоминаний, связанных с Театральным институтом. Чуть позже, когда к нам в зону все обильнее стали просачиваться известия «с воли», я узнал, что мой мастер, Александр Васильевич Соколов, награжден Сталинской премией за постановку «Варваров» Горького в Большом драматическом театре, я ухитрился через вольнонаемных, переплатив в несколько раз, послать ему приветственную телеграмму, благо числился одним из лучших его учеников в мастерской по классу замечательного педагога Леонида Сергеевича Вивьена. Так до сих пор и не знаю: получил он телеграмму или нет. При нашей встрече в шестьдесят четвертом году он как-то странно припоминал меня, будто с трудом, и разговор не клеился. Мы тогда встретились за кулисами Александринского театра. Я очень ждал этой встречи. Но Александр Васильевич, узнав, что я еще не реабилитирован, а только амнистирован, не в пример другим педагогам — Леониду Федоровичу Макарьеву, Елене Львовне Финкельштейн и Лидии Аркадьевне Левбарг, заметно побаивался «связи с бывшим врагом народа». А ведь я себе тогда, посылая телеграмму, отказал в возможности прикупить дополнительное питание в лагерном ларьке...

Игорь попал в плен к финнам, что определило его осуждение. Там он также музицировал. Он трогательно любил свою, мать, проживавшую в Ленинграде и, видимо, из последних средств время от времени посылавшую Игорю посылки. Я посылки уже не получал. Дядя Борис написал, что больше он не сможет мне ничего посылать и просил даже не писать ему. Слово дяди Бориса было для меня законом. Наша переписка возобновилась только после моего освобождения, через шесть лет. А тогда начинался пятидесятый год и у старика были все основания опасаться за связь с «врагом народа». Дядя спас мне жизнь, помогая в центре (он же дал денег тете Гольде на поездку ко мне), в Златоусте. На моем лицевом счету было еще несколько сот рублей, присланных им в тюрьму, так что время от времени я мог пользоваться ларьком. В лагере я уже чувствовал себя как на воле и, действительно, здесь имел возможность как-то «заработать» лишнюю миску баланды, а то и кусочек хлеба, не то, что в тюрьме.

Степан Желязков ростом чуть выше меня был атлетического сложения. В тюрьме он тоже получал посылки и не ослабел. Его сразу же после медкомиссии назначили на тяжелые земляные работы. Тогда там началось строительство плотины через неширокую, но быструю речку (не помню ее название), а так как строительство требовалось закончить в основном к концу года, то его форсировали, и для работы на плотине использовали только каторжан, зная, что пятьдесят восьмая статья не поведет, а на «советских людей» (воров, мелких жуликов, бандитов, хулиганов) надеяться нечего...

Первое время мы считались как бы в карантине и нас использовали только на работах внутри зоны. Здесь всем распоряжались свои же каторжники. Нарядчиком был Алексей Побоженов, якобы ранее находившийся в Норильске. Это был красавец огромного роста с энергичным открытым лицом. На правой руке у него не хватало двух пальцев. Говорят, чтобы избежать тяжелого труда некоторые рубили себе так пальцы. Леша был сильным, стремительным в движениях. Но, как я узнал позднее, он не был «сухой», а был из бывших полицаев или

каких-то пронемецких частей. Он был года на три-четыре старше меня и, не скрою, видный собой, сразу же привлекал симпатии. Однако, для самоутверждения себя в лагере он совершил убийство. Ему добавили срок; он уже считался «невыводным», то есть, его нельзя было выводить за зону из-за опасности, что убежит. Таким образом, его назначили нарядчиком. Леша отличался справедливостью и относился к подчиненным товарищам по несчастью, беру на себя смелость сказать, по-человечески. Ни разу я не видел, чтобы он кого-либо ударил: его побаивались и без того, стоило только глянуть на его богатырскую фигуру.

Блатные из соседней зоны ненавидели Лешу, сумевшего как-то организовать у пассивных каторжан самооборону против блатарей, которые иногда, накурившись наркотиков, при открытом послаблении часовых с вышек, прорывались в нашу зону, повалив столбы ограждения, и начинали избивать «фашистов», грабя заодно все, что попадалось под руку. Тут начальство смотрело сквозь пальцы на подобные проявления патриотизма...

Возле Побоженкова постоянно находился его «адъютант», «шестерка», проводившийся как помощник нарядчика, лишь бы не работать. Как и все «шестерки», это была не запоминающаяся личность, хотя имевшая на своем счету пару убийств.

Другой важной персоной в зоне был «моряк» Иван Польшиков. Рассказывали, что он прибыл в лагерь совсем юношей, вроде того Коли, который был со мной в плену в Чудове. Однако, условия заставили Ивана через некоторое время заставить забыть о том, что он фраер. Польшиков совершил одно или два убийства, стал «невыводным» и утвердил свой авторитет в зоне. Ему, как и Побоженкову добавили срок. У него тоже была своя «шестерка». Нахохлившись, чуть сутулясь, он ходил по зоне, исподлобья поглядывая по сторонам. Его побаивались. Не верилось, что он года на три моложе меня. За что он попал, не знаю. Но за этой его нелюдимостью скрывалось что-то для других таинственное, а для меня ставшее понятным, — ранимая душа. Он, как еж, скрывал ее внешней колючестью, взглядом из-под вечно нахмуренных бровей, молчаливостью. Его, как и Побоженкова, блатари ненавидели, так как эти оба возглавили борьбу против блатных, сперва захвативших власть в зоне. После этого блатных перевели в другой лагпункт, иначе без убийств не обошлось бы. Таким образом, эти двое, спасшие лагерь от блатных, заправляли в нем. Побоженков официально; Польшиков неофициально. Кем он числился, не знаю. Перед ними ходили на задних лапках Барабанов, интеллигентный красивый заведующий кухней, бывший лейтенант или капитан Советской Армии, попавший в плен, а на гражданке инженер или педагог лет тридцати двух, а также кладовщик эстонец Константин Ясько, до моего прибытия считавшийся чемпионом зоны по шахматам, а также горбатый второй кладовщик. Еще из таких придурков запомнился лилипут с детским, но на редкость жестоким лицом, бывший полицай, а здесь ведавший тоже чем-то в зоне.

И вот мы все «сидим», номерованные, будто клейменные. Мучаемся. Наказаны. А за что? За что наказаны? За что мучают нас и мы себя? За чьи грехи? Почему нас наказали так жестоко? Все ли из нас так уж виновны? Может быть, скорее всего, нас наказали, чтобы запугать других? Может быть, мы — жертвы бдительности: «Как бы чего не вышло?...». А что такое бдительность? По-моему, это не всеобщая, поголовная дурацкая подозрительность и недоверие, а индивидуальный подход к людям. Действительно, разве можно Егора Ильича Жука или Опанаса Водяню считать идейными, злостными врагами Советской власти? Нет. Уверен, что и вины настоящей у них нет. Они социально не опаснее любого, находящегося сейчас на свободе советского человека, а то и лучше его. Какой из меня фашист? Из Жорика Шенберга, немца? Из Александра Емельяновича Федченко? Как это все близоруко! Выдумываю такую притчу: жил-был художник или просто человек. Уселся за стол. Нарисовал птицу. Раскрасил. И после того сам испугался нарисованному: этокое чудище. Взял и поскорее эту намалеванную птицу посадил в клетку. Чтoб никого не заклевала.

Вот и нас сами же разрисовали, разукрасили всякие «бдительные»

следователи, подчиняясь указаниям сверху. Разрисовали, а теперь сами же боятся. Охраняют, как настоящих опасных злодеев. Чудеса! Мы — жертвы фантазии настоящих врагов. Они бы сами хотели, чтобы враги выглядели так, как мы выглядим по нашим приговорам, озлобленными и упорными врагами Родины. Какая чушь?! Какая подлость?!

Да, среди нас разные люди. Немало плохих, даже очень плохих. А на воле люди лучше? Такие же. Полно плохих, злых, завистливых, готовых на подлость. Может быть, там таких в процентном отношении даже больше. Кто знает? Но, по сути, что мы, — что они, невольные и вольные. Разве охранник, за поллитра водки или сотню рублей, отворачивающийся, когда к нам или от нас «пуляются» девчата или продающий в зону по спекулятивной цене запретные поллитра водки, лучше нас? Разве начальство, покупаемое рисунками Васи Парамонова и Коки Енкояна, можно назвать честным? Кругом обман. Грязь. Воровство и обман на каждом шагу. Нас обманывают, а мы, тем более, обязаны стараться обмануть начальство, охрану. Другое дело, что не все из нас, как и из них способны обманывать. Тут уже психология...

38. ЛЮБОВЬ ИЛИ ЛИХОСТЬ

Был еще заведующий ларьком. Кажется, он не был каторжником, так как ему приходилось выезжать за получением товара за пределы лагеря. Это был солидный пожилой человек, умевший ладить с Побоженовым и Польшиковым, которые, между прочим, между собой были в неважных отношениях. С работягами ларечник был грубоват и обвешивал и вообще дурил нашего брата на каждом шагу, как настоящий работник торговли.

Вот краткое описание некоторых представителей того круга, в который попал я, оказавшийся единственным евреем во всей каторжной зоне.

Первые дни мы приглядывались друг к другу, старожилы и прибывшие. Сперва, в период карантина работали внутри зоны, расчищая ее от остатков снега, мусора, ремонтируя дощатые мостки, заменявшие тротуары, и расчищая канавы. Затем нас стали выводить за зону. Помню, работали, мы в оцеплении, то есть, в пространстве, обнесенном колючей проволокой, на расчистке стройплощадки.

Досталась мне там же «интереснейшая работа» — выдергивать старые ржавые гвозди из старых досок. Пожалуй, это занятие можно отнести к наиболее противным и нелегким. Дело в том, что на это выдергивание тоже существовали нормы. Не помню уже сколько гвоздей надо было надергать. А ведь гвозди были разные, разных размеров, по-разному вбитые, кривые, загнанные вообще в доски и так далее. Навалены доски были беспорядочными кучами и приходилось разбирать их, порой очищать от грязи и вытаскивать, вытаскивать гвозди.

Как-то я вытаскивал гвозди недалеко от ограждения. Вдруг меня окликнули: «Эй, мальчик!». Я повернулся, выпрямился и увидел по другую сторону колючей проволоки девушку лет двадцати в телогрейке и ватных брюках. Она что-то делала там и невдалеке от нее копошились подруги.

— Ты за что? — Негромко спросила она.

Я быстренько объяснил. Девушка тяжело вздохнула: «А я за опоздание. Два года. Только, вижу, отсюда все равно человеком не выйдешь. Мне еще год остался. Целый год...».

— Мне легче, — ответил я. — Мне еще четырнадцать. — Считать рано.

Мы еще перекинулись фразами в таком же роде и тут девушку окликнули подруги: приближался конвоир. Мы занялись каждый своей работой.

Что родилось в моей душе? При виде девушки, услышав ее голос, я вдруг почувствовал в себе прилив какой-то нежности. Вероятно, мое существо вспомнило, что я мужчина. Чувствую: даже голос мой изменился, когда я заговорил с ней. А внутри жила боль за нее, незнакомую. Мало ли их, таких же, как она, безвинно страдающих за случайное опоздание, за аборт, за неосторожное слово, оброненное при «бдительном» товарище, а то и не оброненное, а придуманное недоброжелателем или соперником в любви?.. Что ее ждет? Что она вынесет отсюда, если вынесет это заключение? Каждый день она

слышит здесь матерную ругань конвоиров и женщин-надзирательниц, относящихся к своим товарищам по полу куда хуже, чем к мужчинам. Здесь ее раздевают донага, обыскивая, ощупывают с ног до головы, при этом каждый день после возвращения с работы. Она в зоне вынуждена подчиняться каким-нибудь блатным завсегдатаям лагеря, воровкам или бандиткам. Последние всегда быстро находят общий язык с охраной; приносящей им запретные наркотики, даже водку и вино. Здесь царство цинизма.

Женщины смелее и отчаяннее мужчин. Я это заметил еще на фронте и в плену. На что никогда не решится мужчина, делает женщина. В любви она откровеннее, она — рабыня чувства, а не разума, как мужчина. Она — мать. Женщина — это любовь, самопожертвование и милосердие. Мужчина — это война, жестокость, несравнимая ни с каким женским коварством.

Эти женщины, имевшие срок два-три года, «пулялись» через три огневых пролета, через штрафную зону, где рисковали попасть под «трамвай» (коллективное изнасилование, в очередь, «хором», присущее по-моему только народам нашей страны, да простит меня Бог за это мнение), азиатам и азиатчине. Они считали особым шиком иметь любовником каторжанина. Конечно, имели «своих» женщин в нашей зоне лишь три-пять человек, в том числе Побоженков и Польщиков. Но какая нужна была безрассудная смелость, чтобы хоть раз в две-три недели «пуляться» к ним. Безумная лихость.

Как знакомятся? Так же, как я, в рабочей зоне. Договариваются через проволоку. Конечно, авантюра такая, что дальше некуда. Почему женщины идут на это? Может быть, это своеобразный вид самоутверждения или протеста против условий, в которые поставлены они и мы?.. Трудно сказать.

Как-то вечером в уже закрытом на замок бараке вижу — ходит какой-то маленький каторжанин, странный, с очень широкими бедрами, что подчеркивается толстыми ватными брюками. Уходит он в отделение, где Польщиков (он и Побоженков имели нечто отдельных кабин, как и Ясько, и Барабанов, последний жил на кухне).

Вдруг за мной идет «шестерка» Польщикова: «Сашка, Иван зовет тебя».

Прихожу. На топчане рядом с Польщиковым сидит девушка лет восемнадцати-девятнадцати. Это она разгуливала в брюках по бараку. Улыбается.

— Вы, говорят, артист?

Киваю. Завязывается разговор. И она просит прочитать что-нибудь. Я читаю лирические стихотворения Пушкина, Лермонтова, Некрасова.

Она внимательно слушает. Вздыхает и грусть еще больше ложится на ее миловидное лицо. Мне кажется, она думает о том, что ей предстоит через час-другой, когда под покровом темноты она будет «пуляться», через специальный подкоп вылезет из нашего барака, а потом будет лезть через предварительно проделанные «окна» в колючей проволоке, бежать, сломя голову, через две зоны бытовиков, рискуя попасть «под трамвай», а потом снова, отыскав заготовленные дыры (все в темноте) форсировать огневой пролет, дорогу и последний огневой пролет уже у своей зоны.

Я не говорю, но мне кажется это безумием и преступлением, что Иван и другие «аристократы» пользуются слабостью женского пола.

Посидев и побеседовав с полчаса, я тактично ухожу. Но в сердце живет беспокойство. Живет до той поры, пока оттуда, из женской зоны, придет весть, что добралась благополучно.

Конечно, «пуляясь», и девчата и «аристократы» сперва пытаются договориться с часовыми, которые должны в назначенное время дежурить на вышках. Но бывают перемены. Конечно, договариваются не безвозмездно. Что-то обещают, где-то достают деньги для часовых. Однако, не всех и не всегда удается подкупить. Постоянное «пулянье» связано с смертельным риском. Уже были такие случаи и не один.

Как-то, когда вдруг за окном барака грохнул выстрел, мы утром вышли и увидели на запретной полосе между колючей проволокой лежащее тело. Фигурка в мужском ватнике и брюках лежала, неловко поджав одну

ногу. Видимо, была убита сразу, на бегу. Ждали прихода начальства. А она лежала... Мертвая... Маленькая...

Что привело ее на «запретку»?
Похоть,
Любопытство, любовь?
Теперь не найти
ответ.
Не надо плакать, ахать и охать:
Убита девчонка восемнадцати
лет.

Кажется, она «пулялась» к Константину Ясько. Он, крупный, слегка прихрамывающий, был, кажется, офицером в эстонских или латышских войсках «СС». Ему за тридцать. Крупный, грузный с внимательными серьезными глазами. Он чемпион зоны по шахматам.

Играю с ним. Чувствую, он немного слабее, чем я. Играет примерно в силу третьей, слабой второй категории. Но все-таки противник достойный. Играть с ним приятно. Играет культурно, без всяких попыток «вернуть» ход или зубоскальства за доской. Он проигрывает мне несколько партий и не обижается, не сердится. Мы обмениваемся рукопожатиями и он идет по своим делам в свою «конуру», на рабочее место.

В шахматы играет и Барабанов. Но он также уступает мне — и еще легче, чем Константин.

Нам, новым, выдают форму: матерчатые серые легкие курточки и брюки. Это летняя форма. Нашиваем номера. Мой номер Г-765. На спине, на колене и на шапке, которую тоже выдают. Этакая неуклюжая фуражка. Придурки, а потом и я, ухитряются, договорившись с Рассохой, чуточку перешить курточки и они, приталенные, уже выглядят «пижонистее» в нашем понятии.

39. ХУДОЖНИКИ И ПОРТНЫЕ

Кока Енкоян и Вася Парамонов, сразу завоевавшие авторитет у «аристократов», нарядчика, Польшикова и заведующего кухней, пытаются и меня пристроить на более толковой работе, чем выдергивание гвоздей.

А пока хожу в рабочую зону. Выдергиваю. Перекладываю с места на место доски, расчищаю, чтобы через час другие вновь замазали. Одним словом, тружусь. Возвращаюсь к ужину (обед приносят в рабочую зону).

Вот мы стоим уже у вахты в ожидании шмона. Вокруг конвоиры и злющие собаки. Но нас не начинают шмонать. Ждут.

И вот из-за угла забора будто дохнуло жаром: идет «плотина». Возвращаются с работы самые крепкие. Они получают добавочный паек. Им в день восемьсот граммов хлеба и приварок, доставляемый прямо на работу, погуще. «Плотина» идет и чувствуется в ней сила, монолит этакий. Их пропускают первыми. Потом уже нас. Степан Желязков, проходя, подмигивает мне. Нарботался, а усталости не заметно. Да и другие — тоже крепкие, рослые. Один другого складнее.

Наконец, заводят в зону, обшмонав, и нас. Наскоро едим вечернюю баланду и — по своим делам. Кто — куда. Я — к художникам. Там и Лашков. Туда придет Степан. Зав. кухней остался очень доволен работой Васи и Коки. У них есть еда, и они, не обидев себя, могут уделить и Игорю, и Степану, и мне. Все-таки, добавка. Сейчас они рисуют начальство. Вася рисует лица, а Кока «одевает»: рисует одежду. Конечно, Васе потрудней, но, заметно, он художник настоящий, а Кока больше по декорационной части...

Как-то зашел к ним, вдруг дверь настезь и вваливается целая делегация — начальник лагпункта (подполковник) и с ним еще человека три-четыре офицеров.

— Ну как?— спрашивает начальник, небрежно кивнув нам в ответ на приветствие.— Получается?

— Пожалуйста, — Вася Парамонов достает и показывает начальнику

его портрет. С него смотрит этакий фюрер с энергичным лицом и чуть приподнятой головой.

— Это я? — не может сдержать удивления подполковник, похожий на себя, но напроць лишенный героико-патетического налета, приданного ему художником. — Это я? — туго соображает он.

— Да, это вы, — говорит твердо и почтительно Кока. — Очень похожи.

Теперь подполковник соглашается и взглянув на свою свиту изрекает: «Да, это я».

— Это вы, — подтверждает вся свита. Он доволен. Дает папиросы художникам (они не курят, но берут для друзей) и, гордо глянув на изображение, констатирует снова: «Да, это я».

Обговорив с художниками еще другие заказы, он и свита уходят.

Как-то я сидел у художников. На дворе разыгралась дикая гроза. Видимо, ее центр находился где-то возле нас. Гром грохотал непрерывно. Вдруг из открытой печки, перед которой я сидел, выскочил маленький, раскаленный красный шарик величиной с гусиное яйцо. Шарик выпрыгнул на пол, подпрыгнул и с страшным грохотом лопнул. Все окаменели. Это была шаровая молния. Я ее видел впервые да еще в такой смертельной близости от себя. Этот эпизод не имеет отношения к остальному повествованию, но просто мне хотелось о нем рассказать. Все это произошло так быстро, что, по-моему, никто из нас даже не успел испугаться и лишь потом мы поняли, какой опасности подвергались. Пожара не было.

Кока высчитал, что я не мог успеть закончить институт (а я, болезненно переживая, что остался недоучкой, даже Феде врал, что успел закончить), но, кое-что понимая в театральном искусстве, верит, что на подмостках я был. Да и как не поверить, когда я так красочно умею рассказать о игре кумира армян Ваграма Папазяна в «Отелло» (я там играл два раза роль коменданта Кипра Монтано).

Пишем теперь от дяди я не получаю. Пишет мне только тетя Гольда. Она не боится связи с «врагом народа». Пытается подбодрить. Но послать ничего не может, существуя на нищенскую пенсию врача.

Иногда я рассказываю о своих похождениях в плену. Кока недоверчиво покачивает головой. Но Вася знает немцев и понимает, что я не лгу.

Описываемые события, как «пулянье», шахматы и визит начальства происходят в разное время. Просто я пытаюсь как-то сгруппировать в памяти события и впечатления.

Мы спим на нижних нарах подряд — Вася, Кока, Степа, Лашков и я. Перед сном мы подолгу переговариваемся, чем нередко вызываем недовольство других, которым мешаем спать.

Степан, устроившийся было сперва в швейной ремонтной мастерской, перешел работать на плотину, хотя был на хорошем счету у Рассохи. Последний — человек с мягким юмором, добрый и по-моему, очень порядочный. Он, увы, безотказный: шьет и начальству, и нарядчику, и зав. кухни, и не только им, а и простым смертным, вроде меня (вот перешел же курточку — чуть-чуть подобрал, подшил — и вид совсем другой, и неформенный и не придерешься).

Степан всегда бодр. Он сразу вошел в жизнь лагеря. Сильный, простой, ловкий в работе, не боящийся трудных и тяжелых тачек или носилок.

Я все хожу на самую проклятую работу, я «разнорабочий». Куда пошлют, что прикажут, что дадут, все одно. Делай и молчи. Не специалист и не работник, как следует. Таких порядком.

Вечерами в бараке иногда, как в тюрьме, начинаются споры о разных высоких и невысоких материях. По горькому опыту тюрьмы я не вмешиваюсь.

Однако, эйфория первого знакомства с лагерной свободой не может заслонить от меня беспокойства. Я замечаю, что надо мной нет-нет да попытаются подшутить, выделяя мою национальность. Стараются при мне завести разговоры, порочащие евреев, причем, незаслуженно. Так говорят, что евреи не воевали, а отсиживались в Ташкенте. А из письма тети я знаю, что и мои кузены были на фронте, что Илья, сын тети Бэллы, при взятии Киева, раненый, был расстрелян оккупантами. Да и других примеров тьма. В нашем добровольческом взводе было шесть евреев и в роте было немало. И погибали они, как все, а подчас и

раньше других в бою.

Иногда пытаются выразить сомнение, что я был на фронте. Сидит, мол, за растрату, а только прикрывается. Не могу описать, как бесят меня такие разговоры, заводимые явно с провокационной целью, чтобы вывести меня из себя, а когда я брошусь на обидчика, избить: сам-де начал...

40. САМОУТВЕРЖДЕНИЕ

По горькому опыту первых лет пребывания в тюрьме знаю, что драться мне бесполезно: свяжусь с одним, а набросятся десять. И в лагере окажусь я в положении еще более незавидном, чем в тюрьме до драки с Борисовым.

Мне надо кого-то отлупить и так, чтобы другим неповадно было меня трогать. Но как? Кого? Кто больше других насмехается надо мной? Постепенно, не за один день, я выявляю одного из главных насмешников и злобствующих задир. Это Скугарь. Он работает на плотине. На голову выше меня, куда шире в плечах. Лицо грубое, как топором вырубленное. Чурка с глазами. И вдруг я узнаю, что про него говорят, что он стукач. За стукача вряд ли кто заступится. Значит, будем драться один на один. Конечно, лучше избежать драки. Исход может быть такой, что и изобьет, и еще вдобавок в карцер попадешь. А там вовсе ослабнешь.

Я неприметно приглядываюсь к Скугарю. Ему под пятьдесят. Крепкий. Говорят, он был каким-то передовым коммунистом где-то у себя в Белоруссии, чуть ли не с самим Лениным был знаком, ходок к нему ходил что ли. А при немцах был то ли начальником полиции, то ли бургомистром в каком-то селе или поселке. В общем, биография обычная. Характерец у него неважный. Его побаиваются. Но стукач...

И я решил выбрать удобный момент, чтобы с ним сцепиться. Ждать пришлось недолго.

Как-то после работы, когда в бараке народу было мало, пришел наш лагерный парикмахер и я сел у него стричься. Он меня обстриг, как надо, чтобы начальство не придиралось, что не стрижен.

Едва я поднялся со стула, как в барак вошел Скугарь.

— А, жидок уже постригся. Похорошел, мать твою...

— Послушай, — сказал я. — Что тебе во мне далось? Отстань похорошему.

Это дало повод Скугарю разразиться тирадой по поводу того, что евреи такие-сякие, вредные и тому подобное.

— Перестань говорить глупости, — предупредил я. — Я тебя не трогаю и ты от меня отстань.

— А чего мне отставать?— возразил гад.— Боишься правды?

— Не боюсь. Но как бы ты меня не стал бояться?

— Ого!— рассмеялся Скугарь.— Чего это я буду бояться?

Во мне все закипало сильнее и сильнее.

— Перестань,—едва сдерживая себя, прошипел я.— Смотри, как бы не пришлось за тридцать шагов мне кланяться. Замолчи, а то приблю.

— Нну-у, — вытянул Скугарь. — Брось. Это ты брось. Ваша нация вообще не дерется.

Слова кончились. Ударом в нижнюю челюсть я сразу опрокинул его. Он не успел закричать, я, не давая ему опомниться, стал молотить его. В ужасе он метнулся под нижние нары; ползком стремительно с неожиданным проворством на четвереньках прополз под ними, выскочил и побежал к вахте жаловаться. Нос, губы, все лицо у него было в крови и кровоподтеках. Он бежал, спотыкаясь. А я выскочил вслед за ним и еще с порога барака гаркнул: «Кланяться мне будешь, здороваться за три версты». — И прибавил ругательство. А вслед: «Иуда проклятый».

Конечно, мне не нужно было, чтоб кто-то мне кланялся. Но уж так принято орать при драках всякое. В барак прибежал Степан.

— Сашка! Что тут произошло? Я прибежал к тебе на выручку. Сказали, что ты с Скугарем сцепился.

— Спасибо, Степа. Он больше цепляться ко мне не будет.

Тут подошли другие и стали дружно поздравлять меня. От антисемитизма не осталось следа. Все были восхищены и нокаутом и

дальнейшей обработкой стукача. Через несколько минут появился дежурный с вахты и прямо пошел ко мне: «Ступай за мной».

Он привел меня в помещение вахты-проходной, где сидели другие надзиратели.

— Ты за что это его Иудой обозвал да еще побил?!

— А он меня назвал жидом, — честно сказал я. — «Жид» да «жид». А что хуже такого названия? Иуда, продажник, стукач. Вот я его в ответ и обозвал. У нас в стране никого не принято ругать за его нацию. Кто виноват в том, кем он родился? Вот я ему и дал, благо он мне вообще проходу не давал. Теперь пусть почувствует.

Скугарь сидел тут же, опустив голову и вытирая слезы и кровь с лица.

Надзиратели переглянулись.

— А ты правду говоришь?

— Я говорю правду, а он лгун и провокатор.

— Ну-ну.— Остановил надзиратель. Я тут глянул на Скугаря так, что он еще более потупился и трусливо оглянулся.

— Ты вот что, только больше его не бей. Ладно?

— Если не заслужит — не буду. А еще посмеет жидом обзывать — еще дам. Мы пока в советской стране живем.

Старший надзиратель почесал за ухом и сказал, чтобы я шел обратно в зону и там, когда придет Скугарь, его не трогал. Я повторил сказанное ранее: пусть не дразнит, не пытается издеваться. Иначе... По-моему, надзиратели были целиком на моей стороне: кто любит стукачей? А он хорош: чуть припекло — помчался, пополз к «защитникам»...

Действительно, после этого эпизода Скугарь стал обходить меня стороной, опасаясь провокаций уже с моей стороны (задану плечом и отлуплю: давай дорогу. «Солдатская причина»). А позднее, когда его как-то в обеденный перерыв уже на плотине стали подкусывать, как его жид обработал, он осторожно сказал: «Да разве он жид? Драчунами они не бывают». А за мной укоренилось прозвище «Сашка-драчун».

Но на примере Скугаря и другие увидели, что все имеет границы, и все, включая Побоженкова и Польшиков, стали относиться ко мне с определенным уважением.

41. Я... ПОРТНОЙ

Шли дни. Постепенно меня знакомили с «сильным мира сего» — Побоженковым, Польшиковым, Барабановым (в лагере кухня — его сердце). Впечатления свои я уже описал. Дополню лишь тем, что Алексей сразу как-то благожелательно взглянул на меня и вздохнул, выражая сожаление, что артисту здесь делать нечего: клуба нет и выступать негде, а в театр Сиблага каторжникам вход закрыт, хотя там в труппе вместе с вольнонаемными играют зэки пятьдесят восьмой статьи, но, конечно, малосрочники: кому дано не больше десяти лет.

Польшиков сперва нахмурился, потом попросил прочитать что-нибудь, а когда я прочитал «Погасло дневное светило» Пушкина, махнул рукой: «Есть же у него (Пушкина), что потолковее». Я догадался и прочитал «Царя Никиту». Польшикову понравилось и он затем не раз просил читать ему эту не совсем приличную поэму.

С Барабановым и Яско (или Ясько) мы нашли общий язык за шахматами.

После утверждения законности своего существования путем избиения Скугаря встал вопрос о необходимости приискать мне более достойное место, чем разнорабочего. Тут Степан, успешно начавший работать в портновской мастерской у Рассохи, уходя на плотину, предложил меня в портновскую. Рассоха познакомился со мной и спросил, что я умею? Я честно объяснил, что, кроме пришивания пуговиц и латок вряд ли смогу быть полезен.

— Что ж, — решил Рассоха, — и это не всякий может.

Побоженков утвердил мой переход в бригаду Рассохи. На следующее утро я уже был в его мастерской.

В бригаде Рассохи в основном были люди пожилые. Они хмуро встретили меня не в пример самому Рассохе. Мне сразу же дали работу: латать ватные брюки. Конечно, не случайно мне их подбросили: проверяли, не брезглив ли я. Я оказался не брезгливым. Но твердые

штанины, которые надо было прошивать, сперва привели к тому, что я сломал две-три иголки и, кроме того, шил медленно. Тогда Рассоха научил меня пользоваться наперстком и вскоре дело пошло лучше. Нормы были большие и трудно поддающиеся учету. Когда я выполнял, нормировщик говорил, что у меня было мало дыр для латания и не замечал места, где я сшивал по швам. Рассоха в эти мелочи не вмешивался, не желая портить отношения с скандальным нормировщиком. Тот несколько раз придирался к тому, что мне попадались брюки, с которыми «нечего делать» (сюда свозили брюки из нескольких лапунктов, в том числе из женских. По поводу последних остригли, что они «с корейского фронта»...).

Между тем, мой веселый характер, любовь к шутке и некоторые меткие выражения, утвердив мою славу «артиста», в то же время как-то способствовали укреплению авторитета. Не раз и в портновской я смешил товарищей и Рассоху своими шутками и прибаутками. Придирки нор-мировщика мне надоели и я решил положить им конец. Как-то, когда он мне, как всегда не глядя, отсчитал «порцию» брюк для починки, я, собрав несколько лоскутьев разноцветной материи, включая красную и белую, так «залатал» брюки, что их даже каторжнику надеть было смешно: они пестрели почище клоунского наряда. Нормировщик выверился и позвал Рассоху. Тот глянул и захохотал: все надо перелатывать. «Чего это ты?» — Спросил он.

— Чтобы нормировщик видел, что я работаю. Теперь, надеюсь, он убедился? Если надо, еще больше пестрых латок поставлю. Во-он, сколько поставил. А он говорит: мало.

— Как же я буду ему засчитывать? — возмутился нормировщик.

Тут я глянул на него так, что он понял: возможна расправа...

— Помиритесь, — сказал Рассоха. — Делайте свое дело и не ссорьтесь.

Я продолжал работать не хуже других. За латаньем я нет-нет да затыгивал песню, иные подхватывали и, хотя с пустоватым брюхом, но «припеваючи» проходил тягучий рабочий день. Работа эта, устраивавшая стариков, меня уже не радовала. А солнышко заглядывало в нашу пропыленную, провонявшуюся мастерскую и манило на свежий воздух.

Степан быстро освоился на постройке плотины. Там мы, каторжники, выполняли все земляные работы, самые трудные. Об экскаваторах или какой-либо технике речи не было. «Техническими средствами» служили издавна проверенные — лопата, кирка, лом, если потребуется, и «транспортные» — тачки и носилки. Работы проходили в двух-трех километрах от зоны. Туда же в обеденный перерыв доставляли приварок и двести граммов хлеба к обеду, отличавшие этим особую тяжесть и значимость земляных работ. На них было занято основное население зоны, человек триста-двести. К объекту и обратно, конечно, вели под усиленным конвоем. Придя, конвой становился по разным сторонам, огораживая место, откуда выбирали землю, узкую полосу, где были настелены доски для катания одноколесных тачек, и место, где сбрасывали землю, создавая огромную насыпь. В зависимости от дальности, где выкапывали землю до ее сбрасывания, удлинялся и путь следования с нагруженной тачкой. Сбросив груз, быстро бежали с тачкой к «забою», где уже ждала следующая, нагруженная тачка. Правда, так впоследствии делали я и мой напарник, а иные работали поодиночке: каждый и нагружал и отвозил тачку. Но все эти премудрости я познал позже. А пока искал способа вырваться из портновской, хотя работа в ней считалась «блатной», благо была не очень тяжелой, а просто нудной.

Нередко в мастерскую заглядывало разное начальство с поручениями к Рассохе. Иногда эти заказы, если они не отличались сложностью, выполняли его ближайшие два помощника, а иногда он сам. За все подобные заказы приходившие обычно приносили либо немножко хлеба или дешевых конфет, а то и махорку или папиросы. Последнее было особенно выгодно нам, так как Рассоха не курил и всегда отдавал свой «заработок» остальным «портным». Подчас безотказного Рассоху так заваливали заказами — и все срочные! — что, бедняге приходилось туго. Каждый из заказчиков являлся каким-нибудь начальником, каждый

требовал, а то и грозил, в случае несвоевременного выполнения его заказа. Конечно, одним из наиболее требовательных клиентов был начальник КЭЧ (коммунально-эксплуатационной части), которому подчинялась мастерская. Он приносил работу для своего начальства, для своей семьи и для всех, кто мог быть ему полезным. Он не был груб, но требователен до анекдотичности.

В мастерской меня никто не обижал: расправа с Скугарем произвела должное впечатление и люди понимали, что Сашка шутник до поры, а если что поперек, то чего доброго, разделается, как с черепахой...

И вот как-то, когда у бедного Рассохи было работы невпроворот, начальник КЭЧ явился и потребовал, чтобы ему немедленно перелицевали плащ. Он зайдет за ним через два часа, чтоб был готов... Он едет в командировку.

Плащ, как сейчас помню, был большой, очень твердый и тяжелый. Рассоха, выполнявший заказ начальника лагеря, отказался. Тогда начальник КЭЧ начал ругаться. Напрасно Рассоха ему доказывал, что за два часа (а примерно столько оставалось до конца рабочего дня) выполнить подобную работу невозможно. Начальник заорал, что «собрались тут бездельники», а мастеров нет и тому подобное.

— Дайте мне ваш плащ. — Сказал я. — Через два часа зайдете.

Все обмерли, но, побаиваясь меня, никто ничего не сказал.

— Вот видите! Возможно! Мать вашу так... — Гаркнул начальник КЭЧ; на радостях дал мне едва начатую пачку «Беломора» и довольный ушел.

Я раздал папиросы товарищам, сам закурил и принялся за дело. Отпорол наружные карманы, вывернул плащ наизнанку и пристроичил карманы с другой стороны, сломав при этом дефицитную иглу у швейной машины. Вся эта процедура заняла менее часа. Видя, что еще осталось время, я не поленился взять уют и еще пригладить карманы на обратной стороне плаща.

Начальник пришел. Я ему спокойно вручил плащ. Он сперва не разглядел (вся мастерская, давась от смеха, ждала его реакции), довольно хмыкнул и направился к выходу. Но вдруг решил надеть «обновку» и тут его поразило, осенило и взорвало. Он вылил на меня ушат ругани, правда, не прибегая к рукоприкладству (каторжник — человек опасный...). А потом, успокоившись немного, спросил: что ему делать?

Я спокойно объяснил, что за два часа это максимум того, что можно было сделать с его заказом, а предложенные им сроки нереальны. Рассоха тоже подтвердил правильность сказанного.

— В карцер тебя надо. — Заявил начальник.

— За что? — Удивился я. — Ваш заказ я выполнил в указанный вами срок. Не будь такого срока — другой разговор.

«Высокий заказчик» подошел к Рассохе и уже миролюбиво обратился к нему с вопросом о выполнении его работы.

— А этого (он указал Рассохе пальцем на меня), чтоб здесь я больше не видел.

На этом закончилась моя портновская карьера. С Рассохой мы остались друзьями, а весь лагерь, узнав, как я выполнил срочный заказ начальства, покатывался со смеху.

Побоженок спросил, что ему со мной делать? Опять в разнорабочие? Больше работы в зоне нет.

— Леша, не надо, — ответил я, — отправь меня на плотину.

— Да там же ты не осилишь!

— Попробую. Отправьте туда.

Побоженок подвел меня к коренастому лет под сорок бригадиру и представил: просит, мол, к тебе.

Бригадир посмотрел на меня весьма скептически и спросил, умею ли я возить тачку. Я честно признался, что таких игрушек у меня в детстве не было, хотя я их видел. А не было потому, что вообще игрушками меня не баловали, считали, чем их меньше, тем лучше, тем больше будет развиваться у ребенка фантазия.

— А ведь мне артистов не надо. — Улыбнувшись, сказал бригадир.

— Артистом я у вас буду в перерыве на обед или после работы, — заметил я, — а попробую так поработать.

— Что ж, раз с тачкой незнаком, поставим пока на носилки, — заключил

бригадир.

42. НА ПОСТРОЙКЕ ПЛОТИНЫ Не помню уже, с кем я стал первый день в паре, чтоб носить глину на носилках. Носить надо было недалеко, строительные работы только начинались, но норма была большая. Мой напарник, помню, был сноровистее меня и, вероятно, покрепче. Ему было невыгодно работать со мной в паре и я его вполне понимаю. Я старался, но с непривычки к такому труду, быстро уставал. Руки, оттягиваемые вниз непомерной тяжестью, болели нестерпимо. Я не подавал вида, но, когда накидывали полные носилки, не мог удержаться, чтобы не попросить нагружать их поменьше. Нельзя же каждый раз накладывать по двести, примерно, килограммов. Мой напарник тоже это чувствовал, но предпочитал молчать. Как я ни старался, но первые дня три-четыре, хотя наловчился таскать носилки, но до выполнения нормы еще было далеко. Бригадир поглядывал на меня с легкой усмешкой и показывал мне свою тетрадь, в которой учитывал выполнение норм. Он, конечно, понемногу мне приписывал, как и другим, но постоянно такое продолжаться не могло. Посоветовавшись со Степаном Желязковым, я решил попытаться счастья, работая с тачкой.

Конечно, первые два-три дня, хотя тачку на первых порах я взял чуть не самую маленькую, были анекдотичными. То тачка сходила с трапа, то переворачивалась, увлекая меня за собой. Все же на третий день стали намечаться успехи. Но, когда я вел тачку через мосток над речкой, она вдруг сошла со средней доски (я шел по боковым двум), и, увлекая меня (хорошо, что я сразу выпустил ручки) полетела с пятнадцатиметровой высоты вниз, где торчали остатки деревянных опор бывшего моста. Даже конвоиры, стоявшие по сторонам мостков на берегу, вскрикнули. И произошло чудо. Тачка упала чуть в стороне от меня (ее, конечно, так и не достали), а я вниз головой бухнулся в воду между торчащими остатками старых свай. Все это произошло так быстро, что я не успел испугаться. Очутившись в воде, благо там было довольно глубоко, я быстро выплыл, даже немного, приходя в себя, поплавал между сваями, а потом, когда конвоиры спустились вниз к воде, подплыл и вышел на берег.

— Ну ты в рубашке родился, — сказал кто-то из солдат.

— В рубашке или нет, но промок основательно. Под общий смех я разделся донага и стал выжимать одежду. Солнце припекало и рубашка (только она тогда и была на мне) и летние штаны быстро высохли. Через несколько дней, когда стало еще теплее, я уже катал тачку, как все, без рубашки, голый до пояса.

Только поднявшись снова наверх и, глянув вниз, я... испугался: такая была высота. Вероятно, ведя еще неопытными руками тачку, я глянул вниз, а надо смотреть все время вперед, а не себе под ноги; этого мгновения отвлечения внимания оказалось достаточно, чтобы тачка потеряла равновесие, а с ней и я. И сейчас, вспоминая свой «полет», я мысленно содрогаюсь и, простите, думаю, что Бог был все-таки на моей стороне. Ей-ей, только Он меня мог спасти и спас.

Итак, я отделался запоздалым испугом. Бригадир, возможно, ожидавший с моей стороны каких-либо истерик: интеллигентия, все же, просто обнял меня и заверил, что я скоро научусь водить тачку, если это приключение не отбило у меня охоту. Прошло еще несколько дней и тачка, казавшаяся сперва такой непослушной, стала сильной стороной моего труда. Первые дни я даже в обеденный перерыв, когда другие, поев, отдыхали свои положенные полчаса, тренировался, учился водить тачку, выслушивая советы опытных товарищей.

Дней через десять я уже водил тачку артистически. От маленьких тачек, едва вмещавших двести килограммов глины, я перешел на самые большие, на которые можно было накладывать более полутонны земли и возил быстро, весело, не уставая. Бригадир только диву давался.

Нормы я уже перевыполнял.

Со мной в одном забое работал Филипп Остапко, тихий одноглазый украинец лет тридцати восьми-сорока. В прошлом был он якобы полицаем в деревне. Не думаю, чтобы он мог кого-нибудь обидеть. Да и срок он имел минимальный — пятнадцать лет каторги. Филипп стал

моим другом. Только мне он доверял свои тревоги и, может быть, только я, тихонько беседуя с ним в перерывах, в моменты передышек умел разгонять его тоску по семье, по жене и маленьким детям, оставленным им вдалеке в родном селе. У него не было предательства, но числилась добровольная служба в полиции. Там, где он жил, партизан не было, не участвовал он в карательных экспедициях. А то, что он никого не обижал — за это ручаюсь: не та натура. Чтобы подбодрить его, я рассказывал ему веселые истории, анекдоты, которых и ныне знаю немало, в том числе анекдоты про наших вождей (ему я мог рассказывать: не продаст). Порой я ему приводил краткие примеры из истории и литературы, когда люди, оказавшиеся в еще более диких положениях, чем мы, выживали и возвращались к семьям. Очень понравился Филиппу мой импровизированный пересказ с продолжениями о странствованиях Одиссея после падения Трои, о его верной жене Пенелопе и сыне Телемаке. Рассказ я дополнял отдельными фрагментами чтения, так как еще и сейчас помню наизусть некоторые крупные отрывки из «Илиады» и «Одиссеи».

Филипп орудовал лопатой лучше, чем я. Особенно после дождя, когда глина прилипала к ней, я отставал. Однако, благодаря тому, что у меня были все-таки тогда оба глаза целы, водил тачку я куда быстрее моего напарника. Через некоторое время мы разделили трудовой процесс: Филипп нагружал большую тачку, я отвозил ее, а когда возвращался, меня ждала другая тачка, уже нагруженная Филиппом. Работа пошла споро, особенно, в хорошую погоду. Бригадир только диву давался: мы с Остапко оказались среди лучших работяг плотины. Удивлялись и радовались за меня и мои друзья-художники и Лашков, не говоря уж о Степане. Побоженков и Польщиков стали относиться ко мне с заметным уважением: и артист, и работяга (!).

После работы я ухитрялся найти время играть в шахматы, рассказывать и даже писать стихи «на заказ» товарищам в письмах, отправляемых домой «левым путем»... Так родилось стихотворение:

Нам кажется сказкой бывшее,
Семья и домашний уют;
Над зоной, не зная отбоя,
Алтайские ветры поют.
Гремят на бараках запоры,
Качается в небе луна...
Как трудно поверить, что скоро
Должна появиться весна.
И весть не подавши заранее,
Сосулькой вдруг стукнуть в окно
Так, словно боясь, что свидание
И с нею нам запрещено.

Впоследствии я только заменил слово «Алтайские» на «Полярные».

43. ПОРНОГРАФИЯ И «КАБЛУК»

Каюсь, за несколько вечеров усиленной работы я «перелицевал» всю «Сказку о царе Салтане» на порнографический лад. Мне это не составило труда; я ее с детства помнил наизусть. Приводить из нее цитаты теперь страшно, но скажу, что, включая неприличные выражения, я постарался ее в ряде мест предельно приблизить к нашему лагерному бытию. Так появились строки о нашем мошеннике ларечнике:

Умеет старый начудесить:
Пол мандавошки недовесить,
Блоху без лапки отпустить...
Купчина, что и говорить.

Естественно, что после этих строк всякий блат в ларьке для меня был исключен. Впрочем, им пользовались только для приобретения курева. Были в поэме и многие другие «скользкие» места, но приводить их неудобно: слишком похабные.

А читал я всю эту галиматью лихо и принимали ее восторженно. «Петергофский госпиталь» Лермонтова или «Царь Никита» Пушкина, не говоря о знаменитом «Луке Мудищеве», приводили аудиторию в восторг. Простите меня. Сейчас мне семьдесят три года, но тогда, несмотря на все испытания, я был молод и озорство молодости кипело в моей крови. Да, я читал и монологи Гамлета, Фауста, Фамусова, Чацкого, но они не имели такого успеха, как вышеназванная похабщина. Аудитория есть аудитория, ничего не попишешь. Зачем закрывать глаза.

Как-то, вернувшись в зону после плотины, я застал возле барака большую группу каторжан, в том числе моих друзей-художников и Лашкова, а также Побоженова и других. Все они окружали человека лет тридцати пяти-восьми, невысокого, но плотного, с гитарой в руках. К сожалению, я забыл его фамилию, а прозвище помню: «Каблук» (он хромал на левую ногу).

Он превосходно играл на гитаре и, аккомпанируя себе, исполнял различные популярные песни, а также арии из оперетт и даже опер. Конечно, это было исполнение драматического актера, как я бы определил его, но на редкость выразительное, проникнутое чувством стиля произведения, эмоциональное и в то же время простое, свидетельствовавшее о хорошем художественном вкусе гитариста. Никогда не забуду, как он исполнял арии из «Фиалки Монмартра», «Господина Икс», «Сильвы», «Холопки», песни военных лет, которые я «пропустил» в плену и в тюрьме. Он исполнял безотказно. Редкую вещь он не знал. Репертуар его был неисчерпаем. Особенно он подружился с Лашковым: композитор (!).

Кто же был «Каблук» и как он к нам попал?

Он был вором в законе, сидел не первый раз, пользовался большим авторитетом в своей среде. Но при этом был страстным любителем искусства, музыкантом и, я бы сказал, Артистом. Его перевели в соседнюю зону из какой-то другой. «Каблук» легко договаривался с «вертухаями» (часовыми на вышках) и они беспрепятственно пропускали его к нам и от нас. Примерно через день он появлялся, советовался с Лашковым и давал концерты для нас. Услышав мое чтение не похабеля, а хороших произведений, он задумался, а потом сказал: «В театр тебе нельзя: каторжник. А использовать тебя по специальности надо бы...».

Дня через два после беседы с «Каблуком» под вечер меня позвали к проволоке (все переговоры заключенных соседней зоны и нашей проходили «через проволоку» и огневой пролет). По ту сторону стоял пожилой человек небольшого роста с усталым выражением лица. Когда он сделал шага два поближе к пролету я заметил, что он хромым. Хромых и в той и в этой зоне (в основном, в портновской бригаде у Рассохи и дневальные) было порядком и вообще, по-моему, все эти лагеря числились инвалидными. Некоторые зэки здесь были заняты даже на сельскохозяйственных работах, косили, перебирали картошку и так далее.

Старичок окинул меня взглядом и спросил, где я играл.

Я ответил, что в Ленинграде и назвал театры, в которых действительно не раз, как и мои товарищи по актерскому факультету, выступал в массовых сценах и даже исполнял при необходимости эпизодические роли.

Поинтересовавшись, где я здесь работаю, старичок спросил: не приходилось ли мне ставить спектакли, режиссировать.

Я ответил, что приходилось (о том, что в самодеятельности — я решил не посягать).

— Завтра за вами зайдут, — закончил беседу старичок.

Хотя после труда на плотине спал я, как убитый, но на этот раз долго не мог уснуть: что придется ставить? Как? Смогу ли?.. Я решил не подавать вида, что являюсь новичком в режиссуре, а свято следовать наблюдениям за своими мастерами в театральном институте.

На следующий день после плотины старичок вновь подошел к проволоке и, вызвав меня, сказал, что с начальством есть договоренность, а с блатными в зоне он тоже договорился, чтоб меня не трогали и, чтобы я шел к вахте.

Действительно, там солдаты был предупреждены, сказали, чтобы к отбою я был у соседней вахты в зону зэков.

Солдат с нашей вахты сдал меня солдату с соседней — она была меньше и находилась в десяти шагах от нашей, по ту сторону огневого пролета — и тот впустил в соседнюю зону, где сразу же меня встретил старичок и повел к клубу.

Клуб находился в глубине зоны и представлял собой нечто вроде маленького одноэтажного деревянного домика. Внутри я увидел «зал» — комнату, где едва ли могло поместиться сто человек — и то в тесноте. В «зале» стояли скамейки. Но над полом было возвышение с порталами; сцена! Мечта моей жизни, малюсенькая, не больше трех метров в глубину и четырех в ширину. Но сцена!.. Она уже в моих глазах возвышала все, что появлялось на ней.

Старичок, он оказался культорггом (культурным организатором, заведующим клубом) представил меня «артистам». Среди них был санитар или фельдшер (у

нас в зоне вообще медиков не было, «аптечка» висела на кухне у Барабанова) из лагерного медпункта, бухгалтер, рабочий кухни и еще несколько рабочих. Ставить они хотели «Сын полка» Валентина Катаева. К счастью, в Златоусте я прочитал эту повесть. Она мне понравилась, даже тронула, и знакомство с пьесой тут же заняло минимум времени.

«Артисты» честно признались, что никак не могут «развести» сцены. Я попросил их показать, что ими уже сделано (ох, как мало они сделали, даже текст еще не знали) и приступил к работе, не мешкая. Я показывал им, как вести себя на сцене, что и как говорить. Тут было не до теории Станиславского. Показы мои — я это знаю — были яркими, уверенными (я чувствовал себя королем среди этих любителей) и все, заразившись понемногу моим темпераментом, стали, копируя меня, подтягиваться. В первый же вечер мне удалось развести несколько сцен вчерне и дать конкретные задания каждому исполнителю.

Так меня выводили после работы несколько раз в соседнюю зону и я за короткое время поставил спектакль. Увы, на генеральную репетицию, когда начальство просматривало работу, меня не вели: запретили (нельзя же доказывать, что это работа каторжника). Но на следующий же день ребята через проволоку сообщили, что начальство осталось довольным. Их повезут в Мариинск на смотр всех самодеятельностей Сиблага, а потом, в случае успеха, сделают им гастроль со спектаклем по многим лагерям, в том числе по женским, что особенно прельщало молодых красивых исполнителей.

Действительно, прошла неделя-другая и возвратившись со смотра, возбужденные ребята сообщили, что заняли там первое место; и уже после того выступали в женском лагере где... (тут шли дикие подробности). Мне через огневой пролет они в знак благодарности перекинули «посылку», две пачки «Беломора», пачку махорки и курительной бумаги.

«Каблук» остался доволен моей работой. К сожалению, вскоре его перевели на другой лагпункт. Возможно, он не ужился с другими блатарями. Вспоминаю «Каблука», я не могу понять, почему и что потянуло его в блатной мир, на скользкий путь. Человек талантливый да еще имеющий огромную тягу к культуре, искусству, постоянно обогащавший свой «багаж» новыми знаниями, любознательный и своеобразный по складу мышления, он не укладывался в моем понимании в понятие «вора». Не знаю, по какой части этого определения он орудовал, был ли домушником, форточником или медвежатником (специалистом по банковским кражам).

В соседнюю зону подбросили несколько известных блатарей. Там, что ни день, сводили счета, «качали права», происходили избиения и даже убийство. Блатари ненавидели нас, в особенности Побоженкова и Польщикова, и грозили их убить.

44. ЛАГЕРНАЯ СВОБОДА

Как-то под вечер, наглотавшись и накурившись наркотиков, при открытом поощрении со стороны охранников, большая группа эков, в их числе несколько пьяных, подошла к проволоке, с помощью принесенных лопат и ломов стремительно опрокинула столбы, перешла через огневой пролет (не станут же часовые стрелять в толпу), опрокинула столбы с ограждением со стороны нашей зоны и ворвалась в нее.

Я в это время был в бараке. Слышал пьяные крики снаружи, но не придавал им значения. Вдруг в барак ворвалось несколько эков (их сразу можно было отличить: без номеров) с ножами и палками и, отчаянно ругаясь, стали бить направо и налево во что попало. К счастью, они больше шумели, чем делали. Никого не успели задеть, но стекла выбили. Случайно оказавшись в бараке, в том числе я, выскочили на улицу.

По зоне бегало еще несколько накурившихся всякой дряни эков. Я с трудом успел увернуться от занесенного над головой топора и эка, промахнувшись, упал. Я схватил топор и побежал прочь, оглядываясь: нет ли где подмоги. Она появилась: вооруженные вилами, топорами и швабрами со стороны кухни бежали Побоженков, Польщиков и их «шестерка», а следом — Степа Желязков и наиболее смелые работяги с плотины. Я подбежал к Степану. Кто-то выхватил у меня топор и сунул мне взамен швабру. Размахивая «оружием», теперь каторжане перешли в наступление, прогнали эков и «на плечах противника» ворвались в соседнюю зону. Мы забежали в центральный барак, раздавая удары направо и налево мелким воришкам, бежавшим из нашей зоны. Где-то в углу барака произошла самая страшная схватка. В ней были убиты трое недругов. Когда начали стрелять с вышек (вовремя спохватились!..), мы вернулись в свою зону. У нас потерь не было. Говорили, что там убито семеро или даже одиннадцать. Но в конце концов оказалось, по-моему, трое, остальные просто сильно изранены. Так как свалка была общая и с той и другой стороны участвовали в сражении не

меньше ста человек, никакое начальство не могло и не стало производить следствие: внутренние раздоры. По-моему, вывозя убитых, из соседней зоны предпочли перевести подальше, чуть ли не на знаменитое торф-болото особенно воинственных «ирокезов»...

Погода была жаркая, солнечная. Теперь тачка уже не тяготила меня, а по-своему забавляла. Возил я самые большие, не под силу каждому, в которых помещалось разом около шестисот килограммов земли. Несколько таких тачек — и норма выполнена. Загорел, как никогда раньше. Чувствовал себя налитым силой и сноровистым. Когда в перерывах на обед молодежь нет-нет да баловалась, борясь друг с дружкой, я частенько выходил победителем в таких состязаниях. В зоне мне удалось организовать шахматный турнир (до сих пор храню его таблицу), где я занял первое место, выиграв все встречи. Вторыми и третьими, далеко отстав, оказались Ясько и Барабанов.

Вася Парамонов рисовал копии с картин Шишкина и Левитана по заказу начальства. Это были потрясающие копии, не уступавшие оригиналам, значительно превосходившие по качеству выполнения те иллюстрации, с которых Вася рисовал. Пусть простят меня ценители, но «Утро в сосновом бору» у Парамонова превосходило оригинал. Шишкин — «фотограф»; за редким исключением в его полотнах проглядывается настроение. А у Васи в копии «Утра...» весь фон, будто проникнутый свежим росным восходом, жил, и картина приобретала несказанную свежесть. Это был гимн утру, природе. Мне кажется, Васе всегда было тяжело расставаться со своими удачными работами, будь то пейзажи-копии или портреты, создававшиеся им за кулечек леденцов, кусок хлеба или ненужных ему папирос. Но за свое искусство он имел счастье заниматься им. Утверждаю: это был художник. Я видел также его этюды, наброски — во всем проглядывал талант, сильный и самобытный. А характером Вася был мягок, безобиден. Всю «административную» работу за него вел Кока Енкоян, умевший пускать пыль в глаза начальству, и оно считало Коку таким же талантом, как Василия. Игорь Лашков по секрету рассказывал мне, что Вася все понимает, ему больно, он мог бы самостоятельно работать так, чтобы никто ему не портил портретов, кто бы на них не был изображен. Но у Васи не хватало духа начистоту поговорить с Кокой. Последний был неплохим товарищем; обладал юмором, но не в пример Васе, умел смотреть на вещи с чисто практической стороны. Кока был чуть старше, а благодаря работе в театре, набрался такого опыта человеческого общения, что мог бы стать министром иностранных дел. При этом, однако, Кока не был злым или вредным. Он был добрым. Маленький, юркий, он сновал по мастерской, «вправляя мозги начальству», пока Вася работал. И начальство вело переговоры с Енкояном и считало его великим художником. Полагаю, Кока сам понимал свою роль. Он был прагматиком и, уверен, мог бы при соответствующих условиях стать отличным бизнесменом.

Лашков числился дневальным в их мастерской, хотя убирали там другие дневальные, и то, что Кока и Вася сумели приютить у себя интеллигентного композитора, уже говорит в их пользу.

Лашков считал себя антисемитом, но очень любил меня. В войну он очутился в финском плену, где чувствовал себя лучше, чем после «освобождения», по его словам. Он был очень мягким, тактичным и никогда не ругался.

Нет, это была не тюрьма. По сравнению с ней лагерь казался свободой. Как-то вечером нам даже фильм показывали. Плохой. Но фильм. И внешний вид немцев-окупантов в нем изображался верно. А вглубь никто и не пытался влезть. «Вглубь» показывали только наших патриотов...

Теперь время все смягчает — и тяжелый труд, и постоянное желание есть (но уже не голод!), и даже чувство поднадзорности, хотя и не такой, как в тюрьме, конечно. Но, когда я был в Сиблаге, в пятидесятом году, я был молод и это главное. Пройдя фронт, плен, дикое дурацкое следствие, смертную камеру и почти семь лет тюрьмы (сюда я включаю примерно восемь месяцев шастания по этапам и пересылкам), я остался молодым, а духом — вообще юношей. Житейские заботы не успели коснуться моего сознания: все почти десять лет после начала войны обо мне и мне подобных худо-бедно «заботилось» начальство. Оно определяло, что и когда нам есть, что одевать и носить, когда ложиться, вставать и так далее. Большинство духовно и душевно, уверен, осталось на том уровне через десять лет заключения, на каком оно попало в неволю. Исправление или порча характеров — это все не то. Просто в таких экстремальных условиях у каждого выступают наружу, выявляются и даже развиваются те стороны, какие давным-давно были заложены в натуре и просто не имели повода проявиться в обычной, спокойной, пусть относительно, среде.

Когда я в мизерном клубике соседней зоны поднимался на жалкое подобие сцены, я уже чувствовал себя духовно богаче, счастливее. Мечта о большой сцене не покидала меня. Известие о том, что в ближайшие субботу и воскресенье у нас в зоне будет выступать театр Сиблага, заставило учащенно забиться мое

сердце.

Театр этот стационарировался где-то в городе, или в Мариинске или в Кемерово. Играли в нем профессиональные актеры из числа заключенных-малосрочников (до десяти лет) и отдельные вольнонаемные. Говорили, что в этом театре года два или три ставил пьесы московский режиссер Любимов, но затем добились из Москвы его освобождения, и он уехал. Очень хвалили артистку Альфредову, говорили, что она была заслуженной (магия звания и здесь производила впечатление).

И вот они приехали. Сперва в зоне выбрали место в большом бараке; разобрали часть нар, чтоб все могли сидеть; отделили место для сцены. Повесили порталы (да, да, повесили) и кулисы.

45. АЛЬФРЕДОВА

В первый вечер, помню, шла комедия Мдивани «Кто виноват?», ставившая актуальные проблемы качества отечественной модельной обуви. Сам директор обувной фабрики носил импортные туфли, а потому мало интересовался продукцией своего предприятия. Конечно, всю эту «теорию малых дел» все смотрели, благо ничего другого в тот вечер не показывали. В первом спектакле я запомнил огромную фигуру директора фабрики. Его роль, как узнал позже, играл руководитель театра, почти освободившийся тип, начисто лишенный искры таланта. Но на малюсенькой сцене он выглядел великаном, а потому запомнился.

Следующим вечером шла комедия «На всякого мудреца довольно простоты» Александра Островского и роль Мамаевой играла Елизавета Альфредова. Это была настоящая Актриса и, насколько могу судить по короткому знакомству, прекрасная культурная женщина. Мамаеву она играла так, что я доныне нахожусь под впечатлением созданного ею образа, хотя и до войны и в недавнее время смотрел немало известных актрис в этой роли. Не буду говорить о других исполнителях; среди них был вполне приличный пожилой актер, арестованный по его словам за несколько недель до войны в Ленинграде, где играл в Большом драматическом театре. Он был по происхождению шведом и этого оказалось достаточным, чтобы, на всякий случай, засадить его за проволоку. Он произвел на меня впечатление милого, интеллигентного человека, очень усталого и разочарованного, а также несколько запуганного. Когда он говорил со мной, то все время оглядывался: не подслушивает ли кто, что он беседует с каторжником.

Альфредова имела заслуженный успех. После спектакля, пока разбирали декорации, я представился Елизавете Альфредовне и вместе с ней около часа гулял по мосткам лагеря, беседуя обо всем. Ей тогда было уже за пятьдесят. Передних зубов у нее не было (их выбили на следствии). Перед выступлением она «вставляла себе зубы». Но дикция у нее была превосходная. Она по национальности была немкой; играла в Воронеже или Смоленске (уже запамятовал). Во время оккупации работала диктором на местном радио. Но отдалась дешево: всего десять лет... Она привлекла меня искренностью, простотой, интеллигентностью и огромным обаянием. Она рассказывала мне о себе, о театре Сиблага, об атмосфере, царящей в нем, очень далекой от творческой. А она была Творческой натурой, многоопытной и вечно свежей.

Я вкратце рассказал ей о себе. Вполголоса почитал ей по-русски и по-немецки несколько небольших стихотворений. Она смотрела на меня, широко раскрыв глаза: «И вы не в театре!?». Я объяснил ей, что это невозможно. Она тут же пошла к руководителю, но буквально через пять минут вернулась, подавленная: «Да, вы правы. Пока это невозможно...».

После отъезда театра на душе стало и больнее и светлее. Светлее от знакомства с Альфредовой. Пусть читатели, если они будут у этой рукописи, не удивляются. Я никогда не смотрел на женщину как на объект страсти. Всю жизнь я любил и люблю женщин за их сердца, за бесконечное обаяние, за душевную теплоту. Все это я почувствовал к Альфредовой. Это я чувствовал в своих чудесных педагогах по Театральному институту — в Лидии Аркадьевне Левбарг, Елене Львовне Финкельштейн, Екатерине Михайловне Шереметьевой, Евгении Константиновне Лепковской, Марии Васильевне Кастальской. Пусть никого не смутит это длинное перечисление. Слишком мало женщин встречается в этой части моих воспоминаний; пусть хотя бы это перечисление заполнит невольный пробел...

А я... Я был согласен играть всю жизнь даже в таком театре, как этот и, уверен, принес бы только пользу и радость людям. «Вы же — мастер художественного слова!» — чуть не вскрикнула Альфредова, когда я только прочитал ей первые два стихотворения. Увы, и эта моя мечта стала почти сбываться уже к закату моей деятельности да и то ее осуществлению постоянно мешали недоброжелатели всех рангов, не всегда связанных с искусством...

Когда утром следующего дня мы работали на плотине, по дороге, недалеко от

нас, проехали два грузовика, первый — с декорациями, второй — с артистами. Мы, оторвавшись от тачек, стали махать им вслед. Из грузовика тоже нам помахали. Я махал полотенцем, служившим и платком и повязкой, пока грузовик не скрылся в клубах пыли. Не знаю, узнала ли Елизавета Альфредовна в голом по пояс загорелом каторжнике у тачки своего вчерашнего собеседника...

46. МАТЧ... ЧЕРЕЗ ПРОВОЛОКУ

Кругом степь. Изредка видны отдельные деревья. Старожилы лагеря считают, что здесь рай по сравнению с Тайшетом и другими лагерями. Есть еще где-то на севере знаменитая пятисот первая стройка. Там ведется строительство железной дороги в вечной мерзлоте от Воркуты до Таймыра и дальше. Но о той стройке известно мало. Еще шепотом рассказывают о свинцовых и урановых рудниках. Там больше шести месяцев человек не выдерживает: заболевает белокровием и вскоре умирает. Страна велика и места для каторги достаточно. Я тоже считаю, что здесь, в Сиблаге, жить можно. Не было бы хуже... Правда, существует такой анекдот: ведут двоих на расстрел. Один говорит: «Давай убежим». А другой отвечает: «Смотри: как бы хуже не было...». Мы все за мир, кроме отдельных людей, считающих, что война — единственный способ покончить с ненавистной Советской властью. Но таких мало. Большинство, как я, воспитаны ею и надеются, что будет мир — будет лучше. В случае войны еще, чего доброго, просто всех перестреляют, как это случилось при отступлениях в сорок первом году... Но вообще-то о политике говорят мало. Не принято. Да и черт знает, еще кто подслушает... Лашков — не приемлет Советскую власть. Кока к ней лоялен. Я — хотел бы, чтобы ее положительные стороны — всеобщее равноправие, интернационализм, бесплатное обучение, медицинское обслуживание сохранялись, а репрессивный аппарат, всякие анкеты, партийности исключались. Кока смеется: «На свою мельницу воду льешь». Может быть. А разве каждый думает не о себе, приглядываясь к той власти, при которой он существует? О Сталине, будто уговорившись, не вспоминаем. Насчет Берии я давно высказал свое мнение: хотел бы, чтобы он, Гитлер и им подобные посидели, как мы, в тюрьме; хотел бы посмотреть, как тот же Берия или Гитлер бегут к кормушке, получив порцию, требуют сменить баланду: «Это ж нагольная вода»... Вспоминается мой экспромт тюремного времени:

Спасибо Лаврентию Берия:
Попал за крепкие двери я,
И сталинский нарком
Нас держит под замком.

Не дай Бог опять в тюрьму. Не скрою: здесь я себя чувствую хорошо. Почти сыт (это главное). Почти могу гулять на свежем воздухе (тоже немаловажно). Все «почти»... Но кто провел больше шести лет «почти без воздуха» в вонючих камерах сумеет меня понять и оценить мои чувства при первом годе пребывания в лагерной зоне.

Не раз в своих воспоминаниях я обращался к шахматам. Они играли немалую роль в моей жизни во всех ее перипетиях. Здесь они также очень способствовали утверждению моего права на достойное существование наравне со всеми.

Из соседней зоны сообщили: к ним прибыл чемпион Сиблага и... Москвы (???) Смыслов или что-то вроде того. Действительно заключенный Добросмыслов (кусочек от Смыслова), якобы участвовавший в каком-то первенстве Москвы, недавно занявший первое место по всему Сиблагу (у бытовиков и такие культурные мероприятия, как турниры, проводились), доставлен в соседнюю зону, где работает бухгалтером.

Через несколько дней нас друг другу представили (свидание происходило через огневой пролет по обе стороны проволоки. Но тут вертухаям с вышек делать было нечего: запретных полос с той и другой стороны мы не переступали). Мы познакомились. Он сказал, что действительно имел первую Всесоюзную категорию по шахматам. Я, не желая отстать, также сказал, что имел первую категорию, благо действительно играл в силу хорошей первой и не раз в Киеве еще, занимаясь в школе мастера (тогда) Константинопольского (а до того — у Богатырчука), где нас было всего пять человек, в сеансах на четырех досках мне удавалось добиваться ничьей с этими маэстро. Сеанс давали, конечно, они, а не я. За все время пребывания в плену я ни с одним немцем не сыграл вничью: у всех выиграл, считая это для себя принципиальным долгом. В тюрьме и лагере пока я тоже не встречал достойных соперников. Но, если Добросмыслов, у которого срок был всего около пяти лет и статья неполитическая, мог участвовать

в каких-то соревнованиях, то я был лишен этой возможности и играл постоянно с игроками, значительно уступавшими мне в умении.

Тут же по обеим сторонам колючей проволоки мы договорились о небольшом матче из трех партий.

Добросмыслов произвел на меня впечатление культурного и воспитанного человека. Мне кажется, он сочувственно относился к моей доле, благо был лет на десять старше и, будучи умным и образованным человеком, мог войти в чужое положение. Но игра есть игра и чести своей никто без боя не пожелает уступить. Мы договорились.

На следующий же вечер, придя с плотины и наскоро похлебав баланду, заменявшую ужин, я уже стоял в двух шагах от запретки. Передо мной был столик с шахматами. По другую сторону проволоки у такого же столика стоял Добросмыслов. Для удобства и возле него и возле меня стояли табуреты, если захочется присесть. А чуть сзади нас, на один шаг, стояли стены болельщиков. За моей спиной стояла вся плотина, не говоря уже о «персональных болельщиках» Коке, Васе, Игоре, Степане. Предварительно пригрозив, что если я проиграю, меня выкупают в отхожем месте, тут же стояли мои болельщики высших рангов, Побоженок и Польщиков с шестерками. Короче, это был «матч века».

Со стороны моего соперника толпа была несколько реже. Но уже на следующий день такая же многочисленная.

Главная моральная поддержка состояла в том, что мои болельщики советовали единодушно: «Не дрейфь, Сашка. Не дрейфь».

Я, конечно, не дрейфил (не боялся). Но, сами понимаете, что такие добрые советы не могли называться практическими, хотя, ей-ей, наполняли меня чувством ответственности: я сражался за честь каторжан, целого лагеря.

В наступившей тишине Добросмыслов двинул королевскую пешку на два поля вперед и громко объявил: «Е 2 - Е 4».

На своей доске я повторил его ход, вслух повторив его и, в свою очередь объявил свой ответный: «Ц 7- Ц 5». Игра началась.

Вероятно, Добросмыслов не думал, что я так прилично играю. Он избрал нелучший дебютный вариант и на пятнадцатом ходу, ввиду неизбежной потери ферзя, вынужден был сдаться.

Началось всеобщее ликование у нас и жидкие реплики из-за проволоки.

На следующий день игралась вторая партия. На этот раз сражение на доске носило упорный характер и к отбою игра не закончилась. На моей стороне было позиционное преимущество. Добросмыслов был в неважном эндшпиле. Не помню уже: записал кто-либо из нас свой ход в отложенной партии или нет, но на следующий вечер, когда я сделал после «домашнего анализа» единственно правильный ход, ведущий к неизбежному выигрышу, мой противник сдался.

На следующий вечер, решив продлить матч до четырех партий, имея явное преимущество, я предложил к негодованию своих болельщиков ничью и противник с радостью согласился. Матч завершился моей убедительной победой. Меня качали, поздравляли, хвалили, сообщали, как переживали за меня. Я был счастлив.

47. В НОВОМ ЛАГЕРЕ

Началось наступление осени. После теплого сентября пошли со снегом дожди. Тачку становилось катать труднее по скользким доскам, тем более, что расстояние от забоя до собственно насыпи все увеличивалось. Мы дружно работали с Филиппом. Он нагружал, я возил. Но обоим приходилось нелегко, как, впрочем, и всем другим. Тем не менее, работа на плотине близилась к концу. По лагерю ползли слухи (с них всегда начинаются перемены), что нас собираются переводить всех на другой лагпункт, а из него — там каторжники-воры — всех перебрасывают еще на какой-то, а нас вместо них.

Действительно, в декабре, когда кругом уже все замело, нас всех, подняв, как всегда, по тревоге, построили и повели куда-то километров за восемь.

Новый лагерь оказался еще более сельскохозяйственным, чем наш, как мы узнали на месте. Но из него каторжан вывели за два-три дня до нашего прихода, оставив только врача и еще двух-трех человек obsługi.

Баракы этого лагеря еще глубже «сидели в земле», чем в нашем, по сути являясь самыми настоящими гигантскими землянками. Из своего лагеря мы вынесли все, что считали своим. Шмон был не очень строгий. Да и что мы могли вынести запретное? Рассоха взял свои большие закроечные ножницы и это было вполне понятно. Художники вынесли кисти, краски, даже мольберты. И это тоже было вполне резонным. Я унес коробку с шахматами. Тоже пропустили.

В новом лагпункте заниматься было нечем. Никуда нас не выводили. Правда, паек сразу урезали: не работаем. Польщиков вынес патефон и вечерами я слушал

пластинки «Летят перелетные птицы», «Темная ночь», «Шаланды, полные кефали» и другие, в том числе песни военной поры в исполнении Клавдии Шульженко. Слушал и тоска брала. Дыхание другой жизни, печаль за пропущенные годы и события, досада безвозвратно утерянного жили во мне.

Польщиков и Побоженов ухитрились через охранников писать прощальные письма своим симпатиям, «пулявшимися» к ним на оставленном лагпункте. Теперь все эти любви были перечеркнуты. А были ли они?

Здесь, заболев, быстро умер от скоротечной чахотки один из «сильных мира сего» — горбун-кладовщик. Несколько дней маленький гробик с его телом стоял на морозе за бараком и, кажется, только через неделю, если не больше, его вынесли за зону и где-то похоронили.

Здесь не было санчасти, но был врач, латыш лет тридцати трех-тридцати пяти, подтянутый и строгий. Узнав, что я — еврей, он страшно удивился, благо не мог поверить, что еврей уцелел при немцах. Он сперва глядел на меня несколько дней свысока, несмотря на то, что Кока и Лашков ему всячески меня расхваливали. Наконец, он снизошел до того, что сел со мной за шахматную доску и вынужден был убедиться в своем бессилии. А когда вечером я прочитал ряд моих любимых произведений, в том числе чеховскую «Шуточку», один из самых лиричных и самых загадочных рассказов великого писателя, врач аплодировал и обнимал меня. Он был культурным человеком и его отношение к целой нации до сих пор остается для меня непонятным. Мы с ним легко нашли общий язык, так как он был начитанным, образованным человеком.

Здесь без всяких сложностей установился тот же порядок, что и в прежнем лагере. Только здесь никого на работу не выводили, разве что несколько человек где нибудь попилить дрова или разгрузить привезенные продукты.

— Нас должны скоро увезти отсюда. — Под секретом сообщил мне Лашков. — Не знаю точно, как распределят, но развезут и, возможно, в разные стороны. Коке говорил начальник.

Это чувствовалось. Говорят, что до нас здесь воры устроили подкоп и чуть не убежали. Охрана на вышках была бдительной до невероятия. Простите за откровенность, но, ей-ей, правда: как-то под вечер, уже смеркалось, я зашел по делам в уборную, находившуюся невдалеке от проволоки и, так как при отсутствии жиров опрavelяться было туговато, шутя, несколько раз прогундосил: «Раз-два взяли, э-эй-ух-нем!». Вдруг за моей спиной бухнул выстрел и через несколько минут возле злосчастной уборной затопталось с десятков солдат, искавших, где там... подкоп, так как часовой на вышке услышал слова, свидетельствовавшие о том, что там что-то подозрительное делается.

«Тревога» закончилась ничем. А когда я рассказал товарищам о ее причине, смеху не было конца.

Тут, где все бездельничали, снова у некоторых стала проявляться тюремная закваска. При раздаче утреннего хлеба началась погоня за горбушками. Зубоскалили. Один тип без всякого повода стал обзывать Филиппа «Кривым» и несколько раз отпускал шуточки на его счет.

Раз или другой я пропустил это мимо ушей, а потом подошел к обидчику и спокойно в присутствии бригадира, знавшего о моих хороших отношениях с Польщиковым и Побоженовым, сказал: «Если еще раз услышу, что ты обзываешь Остапо, клянусь «кривым» начнут обзывать тебя. Я всегда держу слово. Учти». Я это сказал тихо, но внушительно. Правда была на моей стороне и бригадир также вступился за Филиппа.

Случилось это еще до непонятного обморока, который без всякой видимой причины случился там со мной.

Шел я от одного барака к другому и вдруг в глазах помутилось. В ушах зашумела большая река. Вокруг поднялись высоченные дома и я без сил опустился в снег. До сих пор не знаю, что это был за обморок. Затем холодный пот заструился по лицу. Оказавшийся поблизости Филипп оттащил меня к врачу. Латыш сделал мне какой-то укол и вскоре я пришел в себя. Но слабость чувствовал еще несколько дней. Врач очень душевно относился ко мне. Больницы не было и я просто отлеживался дня два на нарах. Потом как будто все прошло. Остапу я тихонько тоже сказал, что нас собираются этапировать куда-то. А куда?..

Действительно, в один из январских дней нас всех выстроили, оставив в зоне лишь несколько человек — художников, Лашкова и уж не помню, Побоженова и Польщикова, и еще кого-то. Тут могу ошибиться. Но вышеназванных точно оставили. А нас всех выстроили и повели под усиленным конвоем.

День был не очень морозный, только после привала к вечеру стало хорошенько пощипывать щеки и носы.

Мы шли по безлюдной степи. Навстречу попался женский этап. Их тоже куда-то гнали. Перекинулись несколькими фразами. Разошлись. К вечеру конвоиры стали нервничать, торопить.

Но вот, наконец, после дневного перехода мы оказались на задворках какой-то

станции. Здесь сгрудились каторжники из другого этапа. Знакомых не видел. Но, помню, там было много молодых ребят немцев. Им всем присудили по двадцать лет каторги за уход с места поселения. Это были волжские и украинские немцы. Милые юноши в возрасте от семнадцати до двадцати лет. Всех нас после переключки посадили в красные теплушки и медленно повезли. Куда?

48. КУДА?

Весной сорок восьмого года после того как из Александровского централа, подержав дня три-четыре в тюрьме Иркутска, нас погрузили в теплушки, мы ездили только в этом виде транспорта. Вспоминаю, как после отъезда из Иркутска в Златоуст мы по пути жадно смотрели в щелки на окружающий мир. Помню, как где-то недалеко от Иркутска мы увидели работающих на железнодорожных путях японских пленных. Многие из них были в очках. Японцы шарахались в сторону от нашего эшелона, вероятно завидев на всех его площадках вооруженных автоматчиков. Из Златоуста в Сиблаг нас тоже везли ранней весной, в марте. Когда мы прибыли в Сиблаг там еще не сошел снег. Но все это были, в конечном счете, весенние поездки. Теперь нас везли лютой зимой в январе.

В вагоне высились, как всегда, грубо сколоченные двухъярусные нары. Посредине вагона, вместившего более ста человек, возвышалась на полметра обледенелая деревянная четырехугольная труба не шире десяти-двенадцати сантиметров. Это был единственный выход для нечистот всех видов при отправлении естественных надобностей. Не говоря о том, что одной такой «канализации» явно недостаточно, она, кроме того наглухо забита льдом, изнутри и снаружи.

Первые сутки мы как-то пытались все же обойтись этим видом современной канализации. Но это оказалось невозможным и мы стали вызывать начальника конвоя. После отказа от горячей пищи (раз в день и тут давали баланду) он явился. К счастью, он оказался неглупым парнем да, вероятно, в других теплушках положение было не лучшим. Он разрешил сломать это «техническое приспособление» и отправлять всем нужду в образовавшуюся дырку в полу. Из нее хоть дуло зверски, пока мы не сообразили приладить из доски от нар нечто вроде крышки, но все же была возможность как-то отправлять свои надобности.

Ехали мы около трех недель. Один раз в пути сделали остановку, уже не помню где, и там нас поочередно водили в вагон-баню, откуда, помывшись, мы возвращались в нашу, уже порядком остудившуюся теплушку. Если бы не тепло наших тел, то единственной железной печурки на вагон не хватило бы.

На остановках, днем и ночью, вагон снизу, со всех сторон и крышу конвоиры обстукивали специальными длинными деревянными молотками: не пробиты ли стены, полы, потолок для побега.

В пути многие из нас выбрасывали треугольнички писем через щели у дверей и зарешеченных, забитых досками окошек. В письмах содержались краткие фразы о том, что опять куда-то увозят, видимо, на север и, как всегда, просьба не забывать. Мне уже писать было некому. С нового места я решил дать о себе знать только тете Гольде. С дядей связь была прервана по его просьбе окончательно.

На письме писали: «Просим бросить в почтовый ящик, наклеив марку», в таком роде. Но из этих писем доходила едва ли одна двадцатая часть: слишком запуганы были люди, чтобы оказывать человеческую услугу явно заключенному. Ведь не всегда же найдешь такую писульку, когда будешь один. А наличие свидетеля уже таит в себе опасность...

В теплушке я познакомился с милыми ребятами-немцами. Они сидели всего около двух лет. Оказывается, издали такой указ, по которому им запрещалось выходить за границы района ссылки. Кто выходил — получал двадцать лет каторжных работ, хотя мог прийти на свидание к девушке или заблудиться (районы ссылки тоже охранялись). Никто из этих юношей не был на оккупированной территории. Но, несмотря на молодость и отвратительное владение родным языком (у наших немцев «диалекты» подчас такие, что без смеха слушать нельзя) например: «ихь арбайте ин овощехранилище». На литературном немецком (хохдойч) не говорил никто, но все эти ребята держались дружно вместе, помогали друг другу, выручали слабых товарищей и уже сумели отстоять свое достоинство в стычках с отчаянными блатарями, так что последние, если немцев было несколько, не пытались их обворовать или обижать.

В пути я почти каждый день что-нибудь рассказывал и это единственное что как-то скрашивало путь, особенно молодежи.

На исходе третьей недели мороз стал все злее проникать в теплушку. Взглянув сквозь щель на одну обледенелую, занесенную снегом станцию, я сумел прочитать название — «Микунь». Но где эта самая Микунь никто не представлял. Все же мы предполагали, что везут нас на пятьсот первую стройку, в Заполярье.

Ошиблись мы не на много. Через несколько дней возле начисто обледенелого строения вокзала (оно за льдом вообще пропадало) наш длиннохвостый эшелон остановился и, как обычно, после долгого бесполового стояния отъехал куда-то в сторону. Остановился. Мы услышали лай собак: значит, встречают...

49. ВОРКУТА

Действительно, двери раздвинулись. Приказали выйти, стали делать перекличку. Конвой передавал содержимое огромного эшелона новым хозяевам. Кругом белел снег. Ни деревца, ни кустика. Строения, занесенные по самые крыши снегом, угадывались по поднимавшимся из еле выглядывавших труб струйкам дыма. Впоследствии я писал:

Ни души. Ни деревьев, ни кустиков.
Ширь снегов безнадежно чиста.
Ты когда-то холодной грустью
Повстречала меня, Воркута.
Я пришел, как и многие, многие.
Бесконечные вьюги кляня,
Чтоб надолго равнины убогие
Стали домом родным для меня.
Приводила дорога крутая
В заповедные эти места;
Я с тобой замерзал и оттаивал,
И с тобой возмужал, Воркута.

И уже через несколько лет я завершил это стихотворение:

Как твердыней, захваченной с бою,
Что невольно склонила главу,
Я сегодня люблюсь тобою
И своим этот город зову;
И, куда б мои дни не летели,
А тебя, Воркута, не забыть:
Я стоял у твоей колыбели,
Ты
и после меня
будешь жить.

В первый же день мы, пройдя баню и прожарку («вошебойку»; но вшей у нас не было; в СССР с ними научились бороться), в пересыльном лагере разместились в огромных бараках. В Воркуте лагеря назывались ОЛПами (отдельный лагпункт, кажется, так). Сразу после бани в барак пришли врачи и начался осмотр.

Пожалуй, более поверхностного осмотра даже мы не видывали. Вероятно, не хватало шахтеров. Меня от первой категории (тяжелый физический труд: шахта) спас только мой ответ на вопрос: «Специальность?». «Актер». — Ответил я и рука врача дрогнула. Врачи тоже были заключенные. Рядом с ними стояли нарядчики или другие представители лагерного начальства из заключенных. Осмотр длился недолго, а просмотрели всех.

50. СМЕРТЬ... ОТ ЗДОРОВЬЯ. АРТУР

— Ой, що ж цэ такэ?!— Искал у всех сочувствия крестьянин лет пятидесяти.— Який з мэнэ горняк? В мэнэ ж сэрце хворэ.

Врачебная комиссия признала его здоровым, поставила первую категорию — «тяжелый физический труд», шахта.

Однако, на беднягу никто не обращал внимания. Он не на шутку разволновался, расстроился и ночью после короткого сердечного приступа скончался. Это единственный на моей памяти случай, когда человек скончался оттого, что его признали здоровым.

В первый же вечер я познакомился с милым обаятельным немцем Артуром Дреслером. Он прибыл с этапом откуда-то из Караганды, что ли. Но их везли вместе с нами.

Он сидел на верхних нарах и воодушевленно (и хорошо!) играл на аккордеоне «Вельтмайстер». Играл, конечно, «Элегический полонез» Огинского (его особенно любят), а также пьесы Шуберта, Шумана и других классиков. Я подсел к нему. Мы

познакомились и стали друзьями на всю жизнь. Артур получил свои двадцать лет так же за «побег с места поселения». Но еще до ссылки он пережил тьму приключений. Скрыв свое происхождение, под вымышленным именем Артур был мобилизован и воевал против гитлеровцев. Раненый, попал в плен. Но так как абсолютно не знал немецкого языка, никакими привилегиями не пользовался. После освобождения из плена, когда выяснилось, что Артур — немец, его отправили на «вольное поселение». А там красивый юноша — он на три года моложе меня — «нарушил границу» района для свидания с девушкой... Указ сработал — и точка.

Перед войной Артур учился в музыкальном училище в Минске. Играл на скрипке. Отличный слух, великолепная музыкальная память — все сулило прилежному ученику дорогу в большое искусство. Но началась война. Его с семьей сослали. От непосильного труда в ссылке мальчишка сбежал. Его приютили русские крестьяне и помогли переменить фамилию и имя. Его мобилизовали. На следствии все «грехи» всплыли и Артур получил двадцать лет каторги. Это была мерка, общий черпак, которым мерели цены преступлений высокопоставленные палачи.

В тот же вечер мы устроили с Артуром нечто вроде концерта. Барак был большой. Места между нарами хватало. Артур играл, я читал.

После «выступления» ко мне подошел человек не из нашего этапа, а местный зэк и вдруг заявил, что он меня видел в Москве в одном большом концерте, где я выступал с... Качаловым (великим артистом Московского художественного театра). Каюсь, я не стал опровергать это утверждение, хотя дальнейшего хода ему не дал. Незнакомец пришел в восторг от моего чтения «Шуточки» Чехова и, пообещав, что скоро вернется, вышел.

Через полчаса он вернулся с каким-то, по нашим тогдашним понятиям, прилично одетым мужчиной интеллигентного вида.

Тот долго расспрашивать меня не стал, только поинтересовался, какой у меня срок и какая статья. Услышав мой ответ, он развел руками, тяжело вздохнул — и разговор был окончен...

В один из дней пребывания на этом ОЛПе мы увидели цепочку прилично одетых зэков, направлявшихся к вахте

— Артисты. — Пояснил дневальный. — Сегодня они хоронят Добжанскую. Слышали, такую балерину?

Действительно, Лола Добжанская — педагог-хореограф, умерла в заключении. Ее муж, известный актер театра и кино Сергей Мартинсон впоследствии приезжал в Воркуту, но могилы своей бывшей жены так и не смог найти.

Несмотря на то, что мы с Артуром были вместе всего два дня, мы друг друга запомнили. Он был ниже среднего роста, коренастый, широкоплечий, с крупной головой и добрым открытым лицом. Как-то весь он немного походил на одного из милых гномов в знаменитой сказке про Белоснежку. Его и бывших с ним немцев отправили вместе одним этапом. Я попал в состав другого.

Поблизости от ОЛПа терялась в снегу узкая колея. На ней, ожидая нас, уже попыхивал маленький паровозик с прицепленными к нему вагончиками. Где-то сзади и спереди примостились конвоиры с собаками и поезд тронулся. Нас посадили на открытые платформы.

Посматривая по сторонам, я видел повсюду бесконечные снега. Они покрывали частые холмы и сливались с горизонтом. Небо тоже казалось каким-то белым, снежным.

День был тихий и не очень морозный. Примерно через час мы остановились. По команде выгрузились. На первый взгляд мы находились посреди безбрежной снежной степи. Но постепенно вдалеке с разных сторон стали различимы дымящиеся огромные курганы, терриконики (горы породы, выбираемой из шахты). Одни были высотой с гору, другие, видимо, у молодых шахт, маленькие.

Пройдя километра два, мы очутились перед высоким забором, дополнительно обнесенным колючей проволокой, с вышками по углам, образованного ограждением прямоугольника.

Вновь проверка—и нас впустили внутрь лагеря.

Подробно останавливаться на его устройстве не буду. Лагерь — как лагерь. Бараки. Он был почти пуст. Затем из отдельного маленького домика на его территории вышел высокий мужчина и подошел к нам.

— Больные есть?— Спросил он.

Кто-то подошел к нему и высокий увел его за собой в домик — медпункт. Потом к нам подошел заключенный (на его телогрейке и шапке не было номеров) и представил: «Я — нарядчик. Вы — в моем подчинении. Ясно? Что скажу — вы будете делать». На первый раз мы должны были убирать зону, бараки, до блеска драить полы, очищать от снега и льда ступени перед входами в бараки, расчищать дорожки, мыть нары и так далее. Работа эта оказалась всем хорошо знакомой.

Затем нарядчик вызвал десятка два каторжан, в том числе меня, и подвел к вахте. Там нас ожидали несколько конвоиров. Они повели всех к небольшому поселку, белевшему стенами двухэтажных домов на недалекой сопке. Там нас распределили по разным домам делать уборку помещений.

Боюсь утверждать, что это была казарма, возможно, общежитие охраны. В больших помещениях стояли койки и тумбочки. В каждом не менее двадцати-тридцати кроватей (коек), застеленных шерстяными одеялами. В центральном проходе между рядами коек поместились еще два-три стола. Возле них стояли табуретки, на них валялись костяшки домино.

Боже мой! Сколько грязи мы вынесли, вымели, выскребли из этого помещения!? Товарищи сказали, что в других домах не чище, а то и еще грязнее. Кстати, они также сообщили, что всего неделю тому назад здесь делали «генеральную уборку» другие каторжники.

Описывать места расположения грязи, включая койки и столы, не стоит. Но, убирая, думалось: как эти люди, не умеющие даже жить по-человечески, могли — и требовали от нас, поставленных в скотские условия существования, идеальной чистоты в наших тюремных камерах и бараках-землянках?! А требовали беспощадно. Издевательски. За малейшую соринку, за случайное пятнышко на полу отправляли в холодный карцер почти на верную смерть.

Поневоле я вспомнил немцев. Они, устраиваясь на ночлег на одну ночь, старались сделать свое жилище пригодным для жилья. У них в землянках было чище и уютнее, чем в казарме наших требовательных охранников.

Тонет все в белесом мраке;
Различи-ка тут, попробуй:
Вкруг сугробы, как бараки,
И бараки, как сугробы.

Подкомандировка двадцать шестой шахты располагалась в низине, со всех сторон окруженной холмами или сопками. Вероятно, весной в ложбину эту со всех холмов стекали ручьи талого снега. С одной стороны вдалеке на высоте можно было различить длинный забор и сторожевые вышки основного лагеря, ОЛПа двадцать шестой шахты; правее его, примерно на таком же расстоянии от подкомандировки — километра полтора — поднимались копер, терриконт и другие здания над шахтой, обнесенные проволокой. Километрах в трех или двух с другой стороны виднелись надшахтные строения и значительно больший терриконт двадцать седьмой шахты. Но между двадцать седьмой и подкомандировкой еще виднелся маленький поселок, не обнесенный колючей проволокой или заборами, подобно ОЛПам или шахтам. Там жили охранники, администрация лагерей и шахты (из числа вольнонаемных, конечно), располагались казармы для охраны «врагов народа».

Незадолго до нашего прибытия, когда женщин увезли, многие распростились со своими любимыми (при совместной работе на поверхности шахты и под землей неизбежно возникали романы. Детей, вскоре после рождения отнимали от матерей и увозили неизвестно куда). Одним словом, здесь был другой мир, чем в Сибири, как мне показалось с первого взгляда. Но, забегая вперед скажу, что во все время пребывания в Воркуте ни со стороны товарищей по несчастью, власовцев ли, бандеровцев, немцев, даже начальства, я не ощущал антисемитизма. Здесь царили особые отношения. Обособленно всегда держались только жители Прибалтийских стран. Но и среди тех наиболее культурная часть была чужда национализму. Его не было ни в блатных, ни в сучих, ни в разных других «многоцветных» ОЛПах. Вероятно, долгие общие несчастья, лишения, непосильный труд в какой-то мере объединили разные судьбы и только дураки могли свои несчастья, как и несчастья своих близких или всей страны сваливать на мифических козлов отпущения. Все работали, как могли дурили начальство и не зря говорилось, что Воркута держится на трех китах — мате, блате и туфте.

51. «НЕ К ТЕЩЕ В ГОСТИ...». НОВОЕ КЛЕЙМО «АРТИСТ...»

Нарядчик нас распределил по баракам, где разбил на бригады. Как и в Сиблаге мы растянулись на голых нарах и только хотели чуть прийти в себя после дороги, как вновь появившийся нарядчик с еще одним зэком приказали нам немедленно заняться уборкой барака (в нем убирать было нечего). Затем вдруг нарядчик объявил: «Внимание!». В барак вошел плотный румяный мужчина лет тридцати пяти-сорока в москвичке, из-под которой виднелось галифе. В зубах его торчала дымящаяся трубка.

— Я — ваш начальник. — Сказал он. — Я — начальник ОЛПа двадцать шестой шахты. Какие у вас есть вопросы?

Кто-то задал вовсе безобидный вопрос, касавшийся бытовых условий.

Начальник вынул изо рта трубку и откровенно заявил: «А вы что — к теще в гости приехали, что ли? Какие есть условия, такие есть и будут».

Все догадались, что лучше ничего не спрашивать. Потом, пришедшие с начальником офицеры сделали проверку по личным делам и каждому сообщили его номер, который он обязан нашить себе на спине телогрейки и бушлата, на правой штанине повыше колена и на лбу шапки-ушанки. Тут же всем выдали обмундирование, уже повидавшее виды, латаное, но не дырявое.

Откуда-то принесли куски белой материи, ножницы, нитки, иголки, огрызки химических карандашей и все стали пришивать номера себе на одежду.

По Воркутлагу мой номер стал «2П-904» (если помните, в Сиблаге он был «Г-765»).

После жидкой, как и в обед, вечерней баланды все улеглись спать.

Подняли ни свет ни заря и все время, пока мы были на этой подкомандировке, поднимали также: ни у кого, включая нарядчика, не было часов и, боясь, чтоб мы не опаздывали, подъем устраивали в четыре утра, а потом мы мерзли в ожидании конвоя, чтобы сопроводил нас на шахту. Определить время не могли. Полярная зимняя ночь еще не думала уступать свои права.

Здесь, на подкомандировке, до нас держали женщин-каторжанок. Месяц или два раньше их вывезли куда-то: прибыл приказ освободить женщин от подземных работ, вывести из шахт. Еще раньше куда-то увезли немецких пленных.

Мы стали новым пополнением Воркутлага.

* * *

Двадцать шестая шахта-миллионка (плановая добыча один миллион тонн угля в год) еще не была сдана в эксплуатацию. Подъездные пути, широкая колея к ней еще не были подведены. Перед постройками надшахтных зданий высились невероятные сугробы, нанесенные поверх куч мусора, щебня, песка, глины, строительных отходов и строительных материалов. Перед шахтой поближе к ОЛПу (отдельному лагпункту, как назывались в Воркуте лагеря) желтела песком высокая насыпь для железнодорожной широкой колеи. Примерно в километре от шахты на возвышенности чернел проволокой в несколько рядов огороженный квадрат лагерной зоны с сторожевыми вышками по всем углам. Отсюда выводили на шахту рабочих под усиленным конвоем с неизменными собаками. С другой стороны зоны имелись вторые ворота, к которым подходила узкая железнодорожная колея. По ней привезли сюда и нас. Пока эта колея служила связующей артерией между новостройкой шахты, ОЛПом, подкомандировкой, где разместили нас, и административным и хозяйственным центром всего огромного района снежной пустыни, Воркутой.

Воды ни в ОЛПе, ни в подкомандировке не было. Пищу готовили на воде из растапливаемого снега. Такую же воду — по шайке на брата — выдавали в бане для мытья.

Начали выводить на шахту. Работали мы на поверхности на ветру и лютом морозе. Я попал в бригаду, занятую на разгрузке и погрузке кирпича.

Дней через пять нас как-то повели утром на шахту. Пришлось идти через насыпь. Один каторжанин поскользнулся и как-то по инерции побежал вниз по склону насыпи. Тотчас грохнули выстрелы. Убили наповал. Вдруг один из шедших впереди приказал: «Хлопцы, садись все и ни шагу никуда, пока не придет начальник конвоя». Мы послушались и уселись там же, где стояли, поджав ноги. Как конвоиры ни ругались, никто с места не двинулся, хотя все мерзли. Кто-то из конвоиров обозвал нас «фашистами». Это еще более озлобило голодных и замерзающих людей. Посыпались оскорбления в адрес конвоиров. Те грозили науськать овчарок, но никто не двигался. Наконец, один из конвойных побежал за начальником. Пока он шел с шахты прибежал нарядчик, видимо, расконвоированный заключенный, и стал ругаться с конвоирами и с нами из-за опоздания. Никто не возражал, только указывали на лежавшего, скорчившись у насыпи, убитого. Так прошел томительный час, а то и больше.

Наконец появился офицер конвоя. На приказ: «Встать!» — все поднялись, но с места не двинулись. Минут пятнадцать начальнику объясняли происшедшее, требуя строгого наказания конвоиров, убивших оступившегося товарища, а также наказания того солдата, который обозвал нас «фашистами».

— Он не знает, почему мы получили каторгу. — Говорили мы. — Если мы фашисты, то достаточно того, что нас лишили свободы и поставили в скотские условия. Обзывать нас не его право.

Офицер сперва пытался нам пригрозить, но понял, что по-плохому ничего не добьется. Тут появился и начальник лагеря лейтенант Чикунов, тот, кто говорил, что мы не к теще в гости приехали.

Чикунов быстро разобрался в обстановке, приказал нам идти на шахту, пообещав, что с виновных взыщется. Мне кажется, он действительно был

возмущен происшествием, но сдерживался.

Придя вечером в зону, я почувствовал, что болен. Весь я, а особенно голова горели, как в огне. Отправился в медпункт, размещавшийся в маленьком домике посреди зоны. На пороге меня встретил высокий, одетый в москвичку заключенный, назвавшийся фельдшером. Я сказал ему о своем самочувствии. Он пригласил зайти. Смерил температуру. Она оказалась под тридцать девять.

Тарноградский, такова фамилия фельдшера, заметил, что у меня, кроме всего, еще и щеки обморожены. Он натер их какой-то мазью. Боль была дикая, но я терпел. Мы познакомились. Он оказался поляком; в Воркуте уже несколько лет и каждый раз, когда срок подходит к концу, его вызывают и объявляют, что ему добавлен еще один срок. Теперь ему остается еще лет восемь... до нового срока...

Это был милый интеллигентный человек. Мы разговорились о театре, о литературе. Его обрадовало, что я люблю и много читал Мицкевича, Выспянского, Фредро, что среди любимых мною произведений чудесный роман Генрика Сенкевича «Камо грядеши» («Куда идешь»). Увидев в углу на столике шахматы, я предложил ему сыграть и выиграл две партии. Он не обиделся; на минутку вышел в соседнюю комнату и вернулся с куском хлеба: «Ешь. Заслужил». Он сказал, что сам не имеет права дать мне освобождение от работы, но обеспечит это. Завтра я не должен выходить на развод: он предупредит нарядчика, а должен зайти опять в медпункт, где будет вольнонаемный врач. Мы расстались друзьями.

На следующее утро после ухода товарищей на работу, я и еще три-четыре больных направились в медпункт.

Вызывали по очереди. «Клейн» — услышал я приятный женский голос, и вошел. За столом сидела очень красивая блондинка лет двадцати трех-двадцати пяти не больше. Добрыми внимательными глазами она посмотрела на меня: «Обморозились?» «И температура» — добавил Тарноградский.

Пока я тут же снова мерил температуру, разговорились. Я честно вкратце поведал свою историю. Женщина внимательно слушала, вздыхала и по лицу ее было заметно, что ее сочувствие не показное.

Так я познакомился с врачом Татьяной Федоровной. Дня через три я опять зашел в медпункт. Продлить освобождение от работы она имела право только еще на один, уже не помню, или два дня. Знаю, что вскоре она стала женой начальника шахты молодого красавца Василия Васильевича Бухтина. К сожалению, больше мы не виделись. Но я знал, что она в Воркуте и даже на сердце становилось легче от того, что такой хороший человек, такая сердечная женщина выслушала мою исповедь и, кажется, поверила мне.

Потянулись трудные рабочие дни. Донимали, и холод, и недоедание, и клопы в бараке, и тяжелая работа. Правда, за время болезни я, обнаружив в зоне небольшую библиотеку, прочитал несколько книг, а главное, найдя сочинения Ивана Бунина, выучил ряд его превосходных стихотворений, в том числе известное «Видел сон Мушкет»: все не оставляла мечта о сцене. На основном ОЛПе, говорили, есть художественная самодеятельность и сцена, расположенная в столовой. В том, основном ОЛПе двадцать шестой шахты, устраивают концерты своими силами; Чикунов — большой любитель концертов и спектаклей.

Недели через две после прибытия в барак пришли с папками наших дел какой-то офицер, начальник лагеря Чикунов и высокий стройный, темный шатен с удивительно красивыми большими лучистыми глазами, то ли карими, то ли синими, уже не помню.

Стали вызывать по делам и интересоваться специальностями. Когда дошла очередь до меня, я ответил: «Актер».

В бараке было довольно шумно и, не расслышав, Бухтин, это был он, оживился: «Шахтер?».

— Актер. — С сожалением констатировал я. Бухтин покачал головой: «Жаль», — и грустно глянул на меня. А вид у меня был весьма неактерский — на лице круглые, как у леопарда, коричневые пятна от обморожения.

Но Чикунов вмешался: «Актеру тоже найдем работу. Надо его будет перевести на основной ОЛП. Запишите фамилию». — Распорядился он.

В тот же вечер или на следующий к нам на подкомандировку пришли под усиленным конвоем «артисты» из ОЛПа двадцать шестой. В бараке отделили брезентом помещение для выступающих и перед этим «занавесом» началось представление.

Под аккомпанемент баяна и гитары пели. Играли соло. Но центром всего являлась клоунада, самая настоящая, соединявшая своеобразным конферансом все номера концерта. Это была махровая самодеятельность, хотя пели «с душой», играть на баяне и гитаре тоже пытались «с душой». Конферанс или клоунада, соединявшие воедино все разнохарактерные номера, включая танцы, поражала безвкусицей, но привлекала редкой сочностью, яркостью и обаянием клоуна-ведущего. Лицо его было густо напудрено, как у клоуна в цирке. Но сквозь грим и пудру синели бесчисленные черточки и точки, въевшегося в кожу угля.

Позднее я узнал, что в шахте на проходке Василий Иванович Пинчук, так звали клоуна, пострадал при взрыве, чудом выжил, но на всю жизнь остались на лице, густо усыпав его, малюсенькие частые, как оспины, кусочки угля.

К моему удивлению, после концерта клоун захотел познакомиться со мной. Тут же он попросил что-нибудь прочитать, что я и сделал.

— Ты будешь у нас, — сказал Василий Иванович. — Конечно, работы артисту у нас нет. Но после работы ты будешь репетировать и выступать. Лишнюю мисочку баланды я тебе обеспечу.

Я поблагодарил и мы расстались. Гостей увели обратно в ОЛП.

Через несколько дней, когда собирали этап в ОЛП, вызвали меня тоже. Под неизменным конвоем мы потопали в основной ОЛП, где перед этим произошло очередное убийство: блатные зарубили топором какого-то «ссучившегося» бригадира. Поэтому нас особенно тщательно обыскивали на вахте перед воротами.

Первым делом после устройства на голых нарах в бараке я поинтересовался сценой. Находилась она в столовой, была неуклюже маленькой и высокой. Но, все-таки, это было подобие сцены и сердце болезненно жалось, когда я поднялся на нее.

Сцена! Даже такая; как долго я шел к тебе. После каторжного дня я смогу подняться на твои доски и ты вдохнешь свежие силы в меня и в моих товарищей по несчастью. Здравствуй, сцена!

* * *

...Воркута, Воркута, хитрая планета, Десять месяцев зима, остальное—лето.

Едва светает. Метет пурга. Нас долго держат у выхода из зоны: конвой не решается вести: а вдруг убегут... Солдаты — в помещении вахты, а мы — на ветру. Со всех сторон облепляет снегом. Он тает на лицах, холодными струйками стекает за ворот бушлата. Мы топчемся в ожидании. Наконец, пурга чуточку утихомиривается. Нас пятерками — руки назад — пропускают через ворота и ведут на шахту по высокой насыпи для железной дороги.

Двадцать шестая уже дает уголь. А в эксплуатацию ее сдадут через полгода, к Дню шахтера. Тогда подведут железнодорожное полотно, закончат все стройки на поверхности и под землей.

Рядом со мной шагает рослый казак Анисим Макаренко. Мы с ним дружим еще со Златоуста. Он из тех немногих, кого привезли туда уже после войны. В Сиблаге мы тоже вместе работали на плотине.

Еще в тюрьме Анисим рассказал мне о себе.

Году в двадцать девятом его семью раскулачили. Отца и старшего брата расстреляли. Мать с детьми из Кубани сослали. В ссылке мать умерла. От семьи остались Анисим и его старшая сестра, ссыльная (ее мужа тоже раскулачили). После шести классов Анисим пошел работать. А когда началась война, его мобилизовали и послали на фронт сражаться «за Родину, за Сталина».

Надо ли удивляться, что при первом удобном случае Макаренко перебежал к немцам, где сразу попросился в казаки. Казачий корпус послали в Югославию на борьбу с партизанами. Анисим честно рассказывал мне, что участвовал в разных «акциях...».

— Ни одного еврея я до знакомства с тобой, можно сказать, по-настоящему не знал, — признавался Анисим. — А душа кровью обливалась, как вспомню отца и гибель семьи. Я, уходя на фронт, уже знал, что побегу. Что и кого защищать? Своих катов?! Черта с два. Ну, а когда я попал к немцам, те приняли по-человечески, а потом тоже давай обманывать и внушать, что во всем виноваты евреи. А злость за мою искалеченную жизнь, за отца, за всех надо было на ком-то сорвать. Я считаю, что заработал свой срок, — заключил Анисим. — За своих я мстил, ...это, не считая евреев. А перед теми, понял, виноват: меня уже в тюрьме, больного, выхаживал врач-еврей и вылечил. Как к родному относился да и к другим, таким, как я. А сын того врача погиб, то ли на фронте, то ли еще где. Вот я и задумался. Ему, конечно, ничего не сказал... А подумал про себя: сволочи — и советские и немецкие. Все обманывают. Потом тебя встретил. Смотрю: тут главный строитель-зэк — еврей-инженер Кан. Ему уже под шестьдесят, а работает и человек такой, что все стараются, чуть что — к нему. Справедливый. Тоже «враг народа». Десять лет. Так как же, я думаю, могу все свои беды переносить на нацию?.. Глупо это.

Анисим рассказывал мне про войну в Югославии, про нравы и быт ее жителей,

их междуособные распри, про генералов фон Пановица, командовавшего казачьим корпусом и старых белогвардейцев, Шкуро и Краснова. О первых двух Макаренко отзывался хорошо, а третьего презирал.

Работа на поверхности досаждала Анисиму. Он попросился в шахту. Сноровистый и сильный, он стал отличным горняком и через несколько лет, когда мы случайно встретились, он женился и так и остался в Заполярье.

А инженер Кан, брат чемпиона Москвы по шахматам, гроссмейстера Ильи Кана, вот-вот должен был освободиться. Посадили его по популярной статье пятьдесят восемь — десятый пункт — и присудили десять лет заключения. Но так как он был крупным специалистом, его привезли в Воркуту, поставили во главе строительства одной шахты. После окончания стройки ему обещали досрочное освобождение. Но... появилась необходимость в постройке следующей шахты и Кану пришлось отбывать свой срок «от звонка до звонка». А сейчас у него срок подходил к концу и ему «уже окончательно» пообещали, что отпустят и даже разрешат доживать свой век в Москве.

Поселили его за зоной в небольшом домике. Там же разрешили жить приехавшей к нему старушке-жене, столько лет ждавшей и пытавшейся хлопотать за безвинно осужденного мужа.

Встретились в ОЛПе многие бывшие красноармейцы, имевшие несчастье попасть в плен и затем убежать оттуда. Среди таких был некто Шульгин, полуеврей, скрывший от немцев свое происхождение. Здесь он, имея пятнадцать лет каторги, выбился из землекопов в бригадиры-строители и пользовался уважением и любовью работяг.

Была в ОЛПе культурно-воспитательная часть (КВЧ). Никого она конечно, не воспитывала. Но имела музыкальные инструменты — баян, гитары, мандолины, а также несколько штатских костюмов для художественной самодеятельности. Старшим культургом был Василий Антонович Кузнецов — отличный человек, лет тридцати пяти. В бытность председателем колхоза он «не заметил» колхозниц, подбиравших в поле колосья, не разоблачил «преступниц», которым грозило двадцать лет каторжных работ по закону от седьмого августа тридцать второго года. «Преступниц» не выявили. «За халатность» Кузнецову присудили пять лет (дешево отделался). Его статья была не политическая и он работал в КВЧ. Василий Антонович был мужественным человеком. Он, как зеница ока, берег от блатных лучшие книги прекрасной лагерной библиотеки с ценными иллюстрированными изданиями. Блатные вырывали из книг иллюстрации с изображением голых женщин, в том числе богинь, и вешали на столбиках возле своих нар.

Кузнецов понимал и уважал каторжан: их трудом возводилась шахта. А блатные, всякие воры, бандиты, мошенники, только числились в бригадах, ничего не делали и «пятьдесят восьмая», перевыполняя свои нормы, обрабатывала этих тунеядцев.

Начальство про все знало, но закрывало глаза на это; в свою очередь, в интересах производства назначало каторжников бригадирами, мастерами, десятниками, даже культургомами и работниками плановых частей. Так длилось до очередной проверки «сверху», в который раз ломавшей ритм производства. Но проверяющие уезжали и все снова входило в прежнюю колею.

Мне уже не верилось в собственное прошлое. О довоенном все реже напоминали сны. Кошмары плена виделись чуть не каждую ночь.

Они спешат наперерез,
А снег глубокий, по колено.
Последний шанс. Бегу из плена
С большой дороги в темный лес.
Скорей за холм! С обрыва — вниз!
И в чащу.

Свет луны так ярок...
Все ближе тьяканье овчарок.
Откуда вдруг они взялись?
Я вижу волчий их оскал
И замираю, страхом сжатый.
Вокруг—немецкие солдаты...
И я в испуге закричал
И... пробудился.

Я — в бараке.
Решетки. Тундра за окном.
Прожектор. Вышки. Снег. Собаки.
Толкают в бок:
«Вставай! Подъем!»...

* * *

Ушли под конвоем за серые стены
Мои молодые года.
Мне снились и снятся побеги из плена,
А из Воркуты — никогда.

Свой номер 2П-904 я честно доносил почти до конца тысяча девятьсот пятьдесят пятого года.

МАЛЕНЬКОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ

Интерес, вызванный первой книгой моих воспоминаний **«Дитя смерти»** и многочисленные пожелания доосветить тему жизни в неволе, начатой в плену и после удачного побега неожиданно для автора продолженной у нас с клеймом каторжника, заставили меня, как это ни больно, окунуться в прошлое. Как и в **«Дитя смерти»** я остался откровенным до конца, ничего не приукрашивая, никого не щадя и не возвеличивая, называя всех их настоящими именами и фамилиями (кого помнил, конечно). Хотя на первый взгляд эта книга более бытовая, чем **«Дитя смерти»**, но здесь я отдал дань событиям повседневности, тем, которые так сказываются на формировании характера. Здесь много «мелочей». Но... из них складывается жизнь, а в конечном счете и судьба. Не хочу, чтобы с кем-либо повторилось то, что было со мной в **«Дитя смерти»** и то, что в настоящей книге. Не знаю, позволит ли мне здоровье и отпущенное время жизни описать последние пять лет заключения, проведенные в Воркуте. Но считаю долгом заранее сказать, что эти годы — с начала пятьдесят первого до конца пятьдесят пятого — уже резко отличались от всех предыдущих в лучшую сторону. Здесь меня нередко освещали огни рампы, пусть сперва самодеятельной, без отрыва от подчас очень нелегкой работы, но такие живительные для истосковавшегося по сцене начинающего артиста. Здесь я встретил много интересных благородных людей. Имена некоторых я назвал в послесловии к **«Дитя смерти»**. Кое-кого упомянул в этой книге. Клейменными-каторжниками — мы прошли большие трудные пути и, пусть не самый трудный и трагический из них, но и не самый легкий, свой путь, я посчитал долгом отразить честно, как мог. Буду рад, если это описание поможет кому-то стать добрее и снисходительнее, справедливее и совестливее.

Александр Клейн.

